

ВРЕМЯ ИДМБ 44 1979

**В ЭТОМ НОМЕРЕ: СВОБОДА И ГИБЕЛЬ МАЛЬЧИКА ИЗ ДУРДОМА ●
ЧРЕВО НЬЮ-ЙОРКА ● БУДУЩИЕ ПРАВИТЕЛИ РОССИИ ● ЛИДЕРЫ
И ПОЛИТИКА ● ВИКТОР КОРЧНОЙ О ШАХМАТАХ И О СЕБЕ ●**

Аркадий Львов Отель "Амбассадор"



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

44
1979 АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШПурМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y.
10033 T. (212) 781-0549

Представители журнала:

Англия	Александр Штротмас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick. Brighou W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
ФРГ	Арий Вернер Postfach SO 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Александр Н.
Мальчик из дурдома 5
Аркадий ЛЬВОВ
Отель "Амбассадор" 99

ПОЭЗИЯ

Анатолий ЖИГАЛОВ
Шепот среди шума 128
Анри ВОЛОХОНСКИЙ
Песня 132

ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА, СОЦИОЛОГИЯ

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА
Нынешние и будущие правители России. 134
Ш. АРОНСОН
Лидеры и политика 157

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Виктор КОРЧНОЙ
Шахматы — моя жизнь 169

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

В. ПЕТРОВСКИЙ
Искусство Кати Арнольд 214

Коротко об авторах 219

Александр Н.

МАЛЬЧИК ИЗ ДУРДОМА

*Психиатрическая больница №...
Взгляд на историю болезни.*

17

В воскресенье мы обычно ничего не делаем. Врачей нет, медсестра только дежурная, нянечки — и той нет. Мы весь день торчим на прогулке, проветриваем бранные мозги от прожитой недели.

— А, между прочим, кто она? — спрашивает вдруг Венька.

— О ком ты? — не понимаю я.

— Девушка, с которой ты вчера протрепался весь вечер.

Или ты этого не заметил?

— А, она... она... девушка просто.

— Психичка, что ли? — не отстает Венька.

— Такая же, как и ты, — отвечаю я.

— Ну, я-то, положим, законченный псих, и она — тоже?

Вечером мы сидим с ним в пустой столовой и говорим. Ни о чем. В темноте почти не видно его лица, и я интуитивно чувствую, что ему хочется досказать свою историю.

— А что потом, Вень?

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Copyright автора.

Окончание. Начало см. в 43 номере журнала.

— Я тебе не дорассказал разве? — спрашивает он, — как будто мы и не расхотелись. — Это не очень интересно.

— Вень, — я чувствую, что он ломается так, по инерции.

— Не интересно, я тебе говорю, совсем.

— Может, я когда-нибудь напишу, для потомков...

Я смеюсь. Смех на Венюку действует облагораживающе, и он начинает рассказывать:

— Ну, изрубил я мебель, получил колоссальное удовольствие. А статья мне совсем за другое шьется, и по этой статье меня тоже ждет "колоссальное удовольствие", лет на восемь-девять. Мама собрала последние деньги, родственников всех обошла и наняла хорошего адвоката.

На суде тот заявил, что я находился в состоянии аффекта, не соображал, что делаю. Он даже не стал доказывать, что я не бросался на тещу с топором, понимал, что бесполезно это. Меня увезли в институт Сербского, это — специальная больница для проверки вменяемости подсудимых и заключенных. Добиться этой экспертизы было не трудно. Когда-то, еще в институте, чтобы не ехать на военные сборы, я стал на учет в районном психдиспансере. Но как убедить профессоров, которым наверняка дано указание признать меня здоровым?

Он замолчал, подождал, пока я прикурил, и продолжил снова:

— Ну вот. Наступил день экспертизы, и меня повели, практически, чтобы вынести приговор на восемь лет. И за что? За то, что у меня забрали мои же собственные деньги. Милое дело — вместо теплой еврейской родины, с солнцем и морем, ехать в Потьму со снегами и льдом. Меня вызвали, и я вошел в кабинет. Там сидели три профессора и женщина в штатском. В углу застыла ожидающе медсестра. На тот случай, если мне плохо станет ... До чего ж мне не хотелось идти в лагеря, да еще на восемь лет, ты себе представить не можешь. А в башке, как назло, ни одной мысли.

— Здравствуйте, молодой человек, — вежливо улыбается один.

— Угу, — отвечаю я. А чего, думаю, распинаться, когда все ясно. Без слов.

— Что ж это, вы, — продолжает он, — в Израиль собираетесь?

Я думал, хоть скрывать будут. Куда там!

— Дядя у меня там, — машинально отвечаю я, как всегда говорил в ОВИРе.

— Ну и что ж, что дядя? — недоумевает он, — это не значит, что нужно изменять Родине.

И тут осенило меня, вдруг, пошло, как слово "родина" сказали.

— Директор он, онкологического института.

— А при чем здесь это? — спрашивают меня.

— Ехать мне на операцию надо, опухоль у меня.

— Какая опухоль?

— Раковая.

— Откуда вы знаете, вам что, рентген делали?

— Нет, просто знаю, чувствую, что она есть у меня.

— А вы не покажете, где?

И я точно указываю на верхнюю часть затылка. Они быстро переглянулись и сказали спасибо и что я свободен. В тот же день меня под конвоем перевезли сюда, приговорив к полугоду принудительного лечения. Моя первая врач навесила мне, без слов, вялотекущую шизофрению с голосами. И вот, я здесь, мой друг, сижу и наслаждаюсь разговором с тобой. Он улыбнулся.

— Венюка, так ты ж гений! — восклицаю я, — и через прлгода тебя выпустят?

— Нет, конечно. Врач может добавить еще, если захочет. Потом все пойдет к Грише, затем к главврачу. Суд будет, могут добавить еще полгода.

— И ты все это время должен сидеть и ждать?!

— Конечно. А тебе здесь не нравится? Видишь, каждому — свое: одним психушка — тюрьма, другим — свобода. Да человека можно довести до любого состояния, что и картошка мясом покажется. У нас это умеют. Нигде, как у нас... —

Он поднялся и быстро пошел в палату, как-то неловко и немного ссутулившись.

18

На следующий день, в обед, появился наш завотделением Григорий Моисеевич. Это было нечто! Он появлялся так же редко, как северное сияние над Черным морем. Венька правильно подметил, что он панически боится обитателей больницы и обходит их стороной. Вот и сейчас, появился на две минуты, настороженно похлопал близсидящего психа по плечу. Наверное, чтобы доказать самому себе, что не боится. Спросил у другого: "Ну, кто победит, Спасский или Фишер?" — сам себе ответил: "Я — за Спасского", — тоненько захихикал, глянул по сторонам (не нападают ли?) и вдруг сказал: "Александр, после обеда зайдите ко мне", — и исчез быстрее, чем появился.

Староста Шахенко тревожно впивается в меня. Я и сам немало удивлен, во-первых, откуда Гриша знает мое имя и вообще обо мне. А, во-вторых, почему именно после обеда, когда начинается тихий час, надо идти в его кабинет.

Гришин кабинет такой же, как у Лины, ничего особенного, казенно-серый, безликий. Стол, шкаф, стулья, истории болезни, Ленин на стене.

— Ну-с, как мы себя чувствуем, молодой человек?

— Отлично, — говорю я, — просто прекрасно. Никак не нарадуюсь, что попал к вам сюда!

— Ну, зачем же так? У вас же папа тоже врач, можно сказать — мы коллеги.

— Мой папа? Не трогайте моего папу! И не вздумайте мне колоть инсулиновые шoki (я думал, он меня к этому готовит). Клянусь, вы потом пожалеете. Я свои вены никому рвать не дам, да еще вашими тупыми иглками.

Я напал на него с ходу, на всякий случай. Я понимал, что они сделают со мной все, что хотят. Но мои вены им бы до того дались.

— Ну, зачем вы так, Александр. Я распоряжусь, распоря-

жусь сейчас же, — он даже снял телефонную трубку, — а если одна, две тупых иглочки и попались? Что ж, случается, — и отложил трубку на место.

Как ни странно, его я не боялся. Боялся я свою молчаливую красавицу Лину Дмитриевну, от которой каждую минуту неизвестно чего было ждать.

— Вы вот, нами не довольны, а нам с вами жалко расставаться.

— Чего? — не понял я его болтовни.

— Переводят вас в другую больницу. Психиатрическую клинику №... Лучшая психбольница во всем Советском Союзе, начальство наше. Так что, я надеюсь, Александр, вы там жаловаться не будете. Может, что и было не так, за всем не усмотришь. А лучше вообще не жаловаться. Лина Дмитриевна будет писать эпикриз на вас, мне подписывать. А как же мы напишем о вас хорошо, если вы о нас скажете плохо? Словом, мы вам хороший эпикриз, — он вам еще понадобится, — а вы нам — доброе слово, на прощанье и короткая память — на потом. Согласны? — он как-то скользко заулыбался.

— Конечно, согласен! — ответил я.

— Видите, как хорошо получается...

А кому и что говорить! — думаю я. — Что на кухне воруют, медсестры колют тупыми иглами, иногда треснутыми шприцами, что врачи знают два-три диагноза и вешают их всем подряд, и назначают лечение, которое может только угробить, что сестры таскают наркотики и продают их наркоманам. Кто в это поверит? Кто этого не знает! Кому это нужно и что это изменит? Строй у нас такой, что в нем все — с головы на ноги. Как скрипучая телега, мчится под гору и ее не остановить... И еще я подумал: неужели мама успела начать действовать, моя умница? И как же высоко нужно было нажать, если Гриша вынужден со мной вот так лебезить.

Я холодно говорю ему:

— Прощайте. Надеюсь, что не до свидания, — и выхожу из кабинета, не дослушав и ничего еще не понимая, кроме того, что обстановка изменилась.

И, как доказательство этому, после тихого часа подплывает ко мне Лина, свет, Дмитриевна и ласковым томным голосом говорит:

— Переводят в другую больницу тебя?

— Кого? — спрашиваю я.

— Тебя, — повторяет она.

— Да что вы?! — удивляюсь я.

— Да, — говорит она.

Я решаю больше не валять дурака.

— Когда? — спрашиваю я.

— Послезавтра.

— Зачем?

— Для выписки.

Я не понимаю, зачем для выписки надо переводить в другую больницу, но все равно готов скакать до потолка и ехать, куда угодно, лишь бы убраться подальше из этой чокнутой больницы.

— Так что, — заключает она, — завтра зайдешь ко мне после тихого часа, побеседуем с тобой в последний раз.

Я сижу с Венькой за его кактусом в ночных сумерках.

— Вот и окончилась моя жизнь в психбольнице, — я говорю и сам не верю. — Я буду скучать по тебе и по Валерке. Мне будет вас не хватать. Я очень привязчивый, трудно схожусь с людьми, но, если сойдуся...

Он пристально смотрит на меня.

— Хорошо, что ты выходишь, ты этого даже не понимаешь... Значит, все мы выйдем, рано или поздно. Торжествуешь, как за себя, что еще один счастливый обретет солнце, свет, воздух.

— Вень, я буду приходить к вам. В следующую субботу приду. Ты только не грусти, а то я себя неловко чувствую, я ухажу, а вы остаетесь. Ты уже столько простоял здесь, за кактусом, тебе совсем немножко осталось.

— Ладно, — улыбается он в темноте, — постараюсь достоять... Занимайся только йогой каждый день. Это здорово помогает. И дыхание обязательно, непременно дыши, дыхание — это основа йоги, основа жизни.

Утром просыпаюсь с восходом солнца. Ничего не делаю, лежу и мечтаю: что будет? Невероятными маневрами выпрашиваю у сестры уют (опасно ведь его давать психам), глажу смятые в мешке и принесенные откуда-то брюки и рубашку. Брюки я гладить не умею. Валерка суетится вокруг, делает это за меня. Рубашку я глажу сам. Все довольны, узнав о моей выписке, и даже староста Шахенко шуршит что-то радостно: еще бы, такой "враг" с глаз убирается. После тихого часа захожу к Лине Дмитриевне в кабинет. У нее, как всегда, мало времени, и она сразу приступает к делу:

— Надеюсь, ты остался доволен, Саша, и жалоб у тебя никаких нет? — Она вопросительно смотрит на меня, слегка наморщив свой красивый загорелый лоб.

— Что вы, Лина Дмитриевна, конечно, нет. Я даже счастлив.

— Чему? — она опять опускает лицо и что-то пишет.

— На море поеду, отдохнуть на солнце, ничего не делать. А с сентября занятия в институте, мама приедет.

Она не слушает меня.

— Мама меня очень любит и жизни себе без меня не представляет. Очень переживала, что я попал сюда, к вам.

— Да-да, — машинально кивает она головой. И пишет.

— И напрасно, Лина Дмитриевна, вы считали меня больным, я абсолютно... — но, вспоминая что-то, осекаюсь. Здесь не надо говорить, что ты здоровый. Здесь все больные.

— Я не считала тебя больным, — говорит она. — Просто думала и сейчас не изменила своего мнения, что тебе необходимо подлечиться, знаешь, хорошо подлечиться. Чтобы ты был совсем молодцом и здоровым. — Мягкая, непонятная улыбка появляется на ее лице.

— Спасибо, — говорю я, а сам думаю: вот идиотка! По моему, она искренне сожалеет, что я избежал ее методов лечения.

— Долечусь уж на свободе, амбулаторно, — утешаю я ее.

— Вот я и окончила твой эпикриз, — она ставит число и расписывается.

— Могу я посмотреть? — шучу я.

— До свиданья, Саша, — говорит она.

— Прощайте, Лина Дмитриевна, — отвечаю я. А ведь, если бы она была просто н о р м а л ь н о й женщиной, а не врачом, я бы, наверное, с удовольствием увиделся с ней наедине: такая красивая...

Я шушукаюсь с Валеркой за Венькиным кактусом, который стал уже для меня родным. У нас с ним секрет, не с кактусом, с Валеркой. Он мне обещал такое, во что невозможно поверить...

Наступает вечер, последний вечер здесь. Совсем стемнело, а время, мне кажется, не только не двигается, даже не ползет. Я начинаю волноваться. Восемь часов вечера, оно тянется еще медленнее. Девять часов, все поубирились в палаты. Я сижу, как на иголках, совершенно издерганный. Подходит Валерка и говорит: "Не дергайся, она все сделает". Проходит еще полчаса. Сзади на мое плечо ложится чья-то рука, я резко вздрагиваю.

— Ну, что ты, Саша, разве можно так? Все будет в порядке, не переживай, — это она, Валеркина девочка.

Наконец, где-то рядом бьют часы, десять, у старосты, что ли, в кабинете. Через пять минут она входит и говорит: "Пошли", — и берет меня за руку. Из тьмы коридора вырастает Валерка и говорит ей шепотом: "Не беспокойся, я послезу, вроде, все тихо". Она молча кивает ему и отпирает первую дверь. Затем закрывает ее, и мы исчезаем из коридора. Меня охватывает озноб. Вторая дверь захлопывается, остается еще одна. Мне кажется, вот-вот схватят. Мы выбираемся через заднюю дверь корпуса на газоны и идем к тускло освещенному подъезду на другую половину здания и поднимаемся на третий этаж чужого отделения. Сердце у меня где-то под горлом, на мгновение останавливаемся, и меня начинает колотить. Если ее увидит дежурный врач, она потеряет работу, потеряет все... Я же, наверняка, попаду под шок к Лине, без всякой надежды на выписку. Она бесшумно отворяет чужую дверь и выпускает меня в предбанник. Я почти не дышу.

— Стой здесь и никуда не двигайся, — говорит она. Отмычкой она тихо отпирает дверь, ведущую в отделение, где ей кто-то, по-моему, уже встает навстречу, тоже в белом халате. Дверь в отделение захлопывается, и я остаюсь один. В крошечной темноте... Я слышу приближающиеся шаги. Тихо хрустит отмычка в двери, которая приоткрывается, пропуская кого-то, и сразу защелкивается.

— Оля! — Я обнял ее и сразу поцеловал в губы, мою "больничную жену". Она отняла их и стала целовать мою шею:

— Я знала, я знала, что это ты... Я так ждала.

Одурев, я совсем не соображал, что делается.

— Это же невероятно... здесь... как ты смог...

— Я завтра выписываюсь.

— Мой милый, я так рада.

Я думал, она огорчится.

— Я приду к тебе, скажу, что брат. Запомни, что у тебя есть брат. Не забудь, ведь не родственников не пускают. Не забудешь?

— Да, да, я не забуду, я все сделаю, как ты скажешь.

Потом мы целовались, как одержимые, забыв все и вся на этом белом, грешном свете. Она была такая горячая, только что с постели. Я целовал ее сказочное тело, обалдевая от происходящего. Я едва видел ее лицо. Но иногда мне казалось, что я ощущаю ее слезы. Как будто она чувствовала, что это наша последняя встреча.

Дверь бесшумно отворилась.:

— Саша, уже пора. Скоро обход...

— Да, да, — пробормотал я, — сейчас, еще минуту, — и стало тихо.

Она прильнула губами к моей шее и долго-долго ее не отпускала. Пока я, взятый за руку Валеркиной девочкой, не был выведен из опасной зоны на лестничную площадку. Уже в отделении я взял ее ладонь, прижал к своим губам и с чувством благоговейной благодарности поцеловал.

Не знаю, отчего, но в палате я рухнул на кровать, как подкошенный, и проснулся уже утром оттого, что кто-то взял меня за плечо. Сквозь зажмуренные глаза я различил Валеркину физиономию.

— Вставай, завтрак, — проревел Валерка и тихо спросил, — вчера все нормально прошло?

— Да, Валер, спасибо большое.

— Пустяки. Сам знаешь, чем можем, тем помогаем.

Я быстро ополоснулся под краном, до которого едва доскакал, и чуть не умер от радости, вспомнив, какой сегодня день. Когда принесли чай, Венька и Валерка торжественно положили предо мной горку шоколадных конфет и хором произнесли:

— Поздравляем с выпиской!

Какой-то ком подкатился к моему горлу и остановился, застряв на полпути.

— Ребята... — только и выдавил я, пошел в палату и стал переодеваться. Денег, конечно, в мешке не оказалось, а две американские пачки сигарет сестры забрали еще на той половине.

Ой, до чего же непривычно было натягивать свои старые брюки, свою голубую рубашку с короткими рукавами, не пахнущую хлоркой или еще чем-нибудь поганым. Все было каким-то необычным и непривычным, очень странным, к которому сейчас я никак не мог привыкнуть. Я вышел в коридор, в отделении почти никого не было, кроме Валерки и Веньки, которые ждали, чтобы попрощаться со мной. По суете, вдруг начавшейся в отделении, я понял, что приехали. Кто-то окликнул меня: "Давай, давай!"

Санитар вежливо подхватывает пару моих узелков и идет вперед. Я киваю всем и бормочу: "Спасибо большое". После чего дверь за мной захлопывается, и я спускаюсь за санитаром по лестнице. И только тут вспоминаю, что в суете забыл попрощаться с Венькой и Валеркой. Я хочу рвануться назад, но санитар берет меня за руку и опять нежно глядит в глаза и говорит, что нельзя, совсем нет времени, машина ждет у порога.

Мы выходим на свет. Машина и вправду стоит у порога — белый РАФ со смуглым шофером. Санитар, обходя с другой стороны машину, распахивает передо мной дверь. Забрасывает туда мои узелки и подталкивает меня вглубь. Я ставлю

ногу на подножку и последний раз задираю голову вверх, к окну нашего отделения. Последнее, что я вижу сквозь решетку в окне: Веньку и Валерку, прощально машущих мне руками.

20

Машина трогается и скользит вперед. Окна окрашены чем-то белым, какой-то краской, и ничего не видно. Санитар сидит сзади меня, упершись глазами в затылок, и молчит. Мне хочется закурить, ужасно. Папиросы в нагрудном кармане рубашки, но я не знаю, как он к этому отнесется. А я хочу, чтобы сегодня все было хорошо, и у меня, и со мной, и вообще, у всех. Я не выдерживаю и, стараясь быть преувеличенно вежливым (я ведь выписываюсь), спрашиваю у него, можно ли мне закурить.

— Конечно, — улыбается он, — нет проблем. — Какой хороший, добрый санитар!

У меня нет спичек, нам их там не давали никогда. Он это знает. И едва я достаю папиросу, протягивает мне спички, так приятно. Впервые держу спички, не таясь. Как это прекрасно: приближение к свободе. Я предлагаю ему закурить, но он говорит, что курит только "Шипку" и, как бы в подтверждение своих слов, достает одну из пачки, закуривает, но от новой спички. Та, моя, прогорела.

С нормальным человеком сто лет не разговаривал. И я вдруг начинаю:

— Вы думаете, я больной? Нет же. По такой глупости попал сюда, вы бы только знали. — И, неожиданно для самого себя, рассказываю ему свою историю. — Теперь вот, везут на выписку, поняли все-таки, что я здоров.

Он кивает головой и молчит. И вдруг страх охватывает меня:

— Ведь вы меня на выписку везете?

— Да, конечно, — говорит он, туша сигарету.

— Много это займет времени? — спрашиваю с замиранием сердца.

— Нет, только проверят и сразу выпустят, — отвечает он.

— Вы бы знали, как там ужасно, — говорю я ему. — Такая тоска, такая безысходность, что в петлю лезть хочется. — Я еще чего-то лопочу, рассказываю, объясняю, радуюсь, что все кончается, а он все кивает и соглашается.

Потом он говорит, что мы приехали, и со словами "выходите наружу" открывает мне дверь. Меня проводят быстро сквозь стеклянную дверь и сажают на диван. Это приемное отделение психиатрической больницы. Мне не верится, осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и я буду делать все, что хочу, мои руки и ноги будут двигаться, как они хотят, и тело мое будет двигаться, куда оно пожелает.

Сейчас меня осмотрят, наверно, быстренько, чего там чикаться, а потом уже — домой, и только домой, подальше от этих мест. Прекрасна жизнь. Я даже забыл все плохое, что было в психушке, моментально. Я сижу на потрепанном диванчике, на потрескавшейся "кожице" дешевого дерматина, а в голову лезут парадные мысли, идут, маршируют рядами.

Выходит медсестра и называет мою фамилию. Я встаю и иду следом за ней: совсем чуть-чуть осталось. Врач сидит в первой комнате и смотрит историю моей болезни, переданную ей сопровождающим санитаром. Позади врача — открытая полукомната, в кафеле с ванной.

— Как вы себя чувствуете, Саша? — спрашивает она мягким голосом, как будто мы давно знакомы. А, может, мы и знакомы. Все в мире повторяется.

— Прекрасно, — отвечаю я. — И очень домой хочется, — вроде как кокетничаю с ней. Потому что понятно, что сейчас я пойду домой. Но она никак не реагирует на мое кокетство и говорит, представляясь:

— Меня зовут Анна Абрамовна.

Медсестра прдходит ко мне слева и, взяв мою руку, спокойно начинает стричь на ней ногти.

— Что вы делаете? — отдергиваю я руку.

— Таков порядок, — гнусно отвечает она, — не мешайте. Берет руку снова и продолжает стричь, как ни в чем не бывало. Я недоумеваю и обращаюсь к врачу:

— Мне ведь на выписку. Вы, очевидно, что-то перепутали. Я из другой больницы.

— Мы все знаем, не волнуйтесь, пожалуйста.

— Да, но когда же меня выпишут, если вы мне стрижете ногти?

— К сожалению, выписываться вам еще рановато. Полежите у нас немного, подлечитесь...

Я перебиваю ее:

— Вы что, серьезно?! Я не подлечиваться к вам пришел, я абсолютно... э-э, мне выписываться надо, меня для того сюда и привезли, мне обещали.

Медсестра покончила с левой рукой и перешла к правой.

— К сожалению, я не могу вас выписать сама, сейчас у меня нет такого права. Вам придется полежать в отделении, а потом лечащий врач решит.

При слове лечащий врач меня дернуло, как неврастеника.

— Какой лечащий врач, о чем вы говорите?! Я не собираюсь лечиться, тем более ложиться к вам.

— Я ничего не могу изменить, и вы, взрослый человек, это понимаете.

Я не понимал ничего, я еще не верил в происходящее. Но внутри уже закипало от бессилия что-то звериное, нечеловеческое. Как раз рядом стояло пустое кресло, еще секунда, и я начну громить всех и все вокруг — стекла, двери, врача, письменный стол, кафельную ванну... Боже ты мой, как же я благодарен Веньке, что он спас, он сдержал меня ото всех тех ужасов, которые потом приходятся на долю буйных. Его слова: "Запомни навсегда, здесь один неверный шаг — срок, еще не такой шаг — новый срок, потом еще и еще. Ты сидишь здесь дольше, долго, бесконечно. Чем дольше — тем больше ошибок, тем больше новых сроков. Ты постепенно сходишь с ума, хотя бы от отчаяния, заточения и окружающей среды. Потом ты становишься хроником по сроку, то есть неизлечи-

мым, безнадежно больным и тебя списывают в Белые Столбы. И нет жизни, окончилась она, навсегда, как будто и не существовала, оттуда уже не выходят никогда, а что там творится — одному Богу известно. Запомни, ты должен сдерживаться всегда, везде и во всем. Только суперздоровый человек может выйти отсюда. Таким же нормальным, как и вошел". Теперь я очень хорошо понимал Венькины слова, очень.

Я сдержался невероятным усилием воли. Был уже голый и купаемый бесстыжими руками в ванне. Потом мне смотрели в задний проход и щупали мой член двумя руками. Пальпировали пах и оглаживали яички.

Врач, не оборачиваясь ко мне, вдруг произнесла:

— Я очень хорошо понимаю вас. Совсем не тяжелый диагноз, месяца не пройдет, как вы поправитесь.

Месяца? Да они поодурели тут! И от чего мне поправляться?

Она продолжала:

— Единственное, что я могу сделать для вас, положить в легкое отделение, например, к себе, если хотите. В нашем отделении почти нет тяжелобольных. Хотите?

Меня уже одевали в пижаму, а я все еще ничего не соображал. Мои вещи снова укладывали в какой-то казенный мешок, снимали с моей левой руки гоночный браслет американских автогонщиков, подарок Натальи, откладывали в сторону пасту, щетку, расческу, мыло. Опять, все опять... Звериное и тоскливое поднималось у меня в груди, хотелось рвать все, грызть, метать, биться об стенку, только бы отсюда... И не было уже никаких сил сопротивляться.

Мои туалетные принадлежности отдали тупому санитару, пришедшему за мной. И я услышал, как врач сказала медсестре:

— Я его положу все-таки в свое отделение. Он, кажется, хороший мальчик.

Меня двинули из приемного отделения, вывели во двор — много деревьев, птицы где-то — взяли крепко за руку и передали в руки дежурной медсестре, мои принадлежности тоже были отданы ей. Меня завели в наблюдательную (опять на-

блюдательную) палату, где психи редко были разбросаны по койкам, как фигуры в эндшпиле, указали на место и оставили в покое. Я плюхнулся плашмя на койку и стал молить Бога только об одном: спать, мне надо спать, иначе я сотворю здесь такое, что им и не снилось со дня возникновения психиатрии.

Было около двенадцати часов, перед обедом, когда я провалился в сон. Проснулся я в четыре, в пижаме, на мягкой, скрипучей и пахнущей чем-то мерзко-больничной кровати. Сначала не понял, где я и как я здесь очутился. Тело было мокрое, липкое.

Мыла не было. Я стащил со спинки кровати клейменое полотенце, просунул его под пижаму и отер свое тело. Кто-то шептался в дальнем углу от меня и, судя по всему, про меня. Но теперь мне было положить на всех психов вместе взятых. Страх перед ними не было, и даже немного было грустно и смешно, что я мог бояться их в первые дни, тогда. Тогда, — когда это было? Я подошел к санитару и обронил только одно слово: "Медсестру". И то ли от обалдения, то ли вообще по неизвестным причинам, он мгновенно позвал ее.

— Щетку, пасту, мыло, не то поперебью здесь и попеределю все к одной матери, — коротко сказал я.

Ее словно сдуло ветром. В этих дурацких заведениях, когда зовешь врача, — никогда не дозовешься, и потому надо действовать от обратного. Не звать его вообще.

Буквально через полминуты появились врач в белом халате, медсестра, мои щетка, паста и мыло.

— Здравствуйте, Александр, — сказала она. И эта уже знает. Хоть в глаза нежно не смотрит. А так, с любопытством взрослого на подростка.

— Я заведующая этим отделением и буду вашим лечащим врачом. Меня зовут Терпсихора Афанасьевна.

Я улыбнулся во весь рот от ее забавного имени.

— Ну вот, это лучше, — отреагировала она по-своему на мою улыбку, — а то "поперебью все".

— Уже доложили?!

— У нас не докладывают, а осведомляют о поведении больного.

— Я не больной, и мне не нужен лечащий доктор, даже вы. И, вообще, мне нужно с вами поговорить, немедленно.

— Хорошо, — сказала она. — После того, как вы воспользуетесь своими принадлежностями, вас сразу же отведут ко мне.

— Отдайте ему все это, — сказала она, повернувшись к медсестре.

Та передала мне из рук в руки щетку, пасту, мыло. И канула. Едва я тронулся, как санитар дернулся следом.

— Он может идти один, — сказала врач, — я разрешаю.

Тот молча и почтительно кивнул. И я пошел. Хоть что-то отвоевал, думал я, сидя в туалете. Кто-то вокруг околачивался, но кто — меня абсолютно не интересовало. Мало ли психов. С мокрым лицом дошел до кабинета медсестры, постучал, все везде заперто, и попросил чистое полотенце.

— А где ваше? — последовал вопрос вместо ответа.

— В туалет упало, — сказал я.

Она хмыкнула, смолчала и принесла откуда-то полотенце. Я вытер с наслаждением физиономию, отнес полотенце в палату, но не повесил его рядом с тем, другим. Вернулся к медсестре и сказал, что я готов.

Еще не зайдя в кабинет врача, я начал:

— Что это такое! Не успел выйти из одной психиатрички, как кладут в другую. Со спокойной половины — опять на буйную, из нормальной палаты — снова в наблюдательную, без сигарет, без пасты, без мыла. Вы что думаете, я собираюсь сидеть с вашими психопатами столько, сколько вам хочется? Я — не ненормальный и не хочу, отсидев среди них еще несколько сроков, таковым стать. Или вы меня выписываете, или я вам здесь устрою такое, чего вы от всех ваших психов, вместе взятых, ожидать не можете!.. — Я кончил, она посмотрела на меня и сказала:

— Спасибо, что предупредили, очень мило с вашей стороны. Начинайте, я разрешаю вам, сейчас.

— Что? — не понял я.

— Мне хочется увидеть, что это такое, чего я не могу ожидать от всех своих больных, вместе взятых. Ну же, — подбадривала она меня, — я жду...

Я сидел, не двигаясь. Тут не выклевывалась даже ничья, я проигрывал. Чтобы что-то сказать, я сквозь зубы процедил:

— Я не нуждаюсь в вашем разрешении. Начну, когда захочу.

— Вот вы говорите, что здоровы, и...

— Я не говорил, что я здоров, я говорил, что я не болен. Это разные вещи, в вашем ненормальном заведении первый признак больного, когда он говорит, что он здоровый.

— Ну, хорошо, не будем придирааться к словам. Вернемся к вашей истории болезни. Ответьте мне, разве будет не больной человек (она подчеркнула это) вскрывать себе вены и не на одной, а по очереди на каждой руке, и не раз, проведя лезвием, а два, три, четыре. Вы что, боли не чувствуете?

Кому-нибудь другому будешь задавать такие вопросы! Мне еще не хватало такого милого симптомчика, как "нечувствительность к боли" — законченный шизофреник.

— Ну, и что с этого, — начинаю я. — Все было плохо, были утраченные чувства, стекло все в одну точку, переполнило, как бутылочку, которая лопнула, и я вскрыл себе вены, от безысходности и безвыходности. Потом сам смеялся (ха-ха-ха, я показал ей, как) над этим, смешно было. Что с этого? Я вскрывал свои личные вены, и это дважды мое личное дело, никому не мешающее, частное, вы меня понимаете? Зато теперь я хочу жить на свободе и только там, но вы меня не выпускаете.

— Вот потому мы вас и не хотим выпускать, чтобы это не было вашим "личным делом".

Будь они прокляты, эти вены, тот день, когда я к ним прикоснулся и, вообще, что они существуют у меня.

— Да не буду я у вас оставаться, — упрямо буркнул я. — Сам пришел, по доброй воле, сам и уйду.

— Вот еще вопрос: если вы не чувствовали себя больным, зачем вы пришли?

— Впечатлений набраться,— неумно сказал я.

— Зачем вам впечатления о наших больных?

— Напишу что-нибудь когда-нибудь, — ох, как беспечно от-
ветил я.

Она сразу сменила тему, да так, что я не понял сразу:

— Вы любили ее?

— Кого? Наталью?

— Да, — кивнула она.

— Не знаю. — Я подумал немного, — действительно, не
знаю. Сейчас уже точно сказать не могу. Эта Терпсихора поче-
му-то начала мне нравиться, чего я абсолютно не хотел, так
как пришел воевать. И должен был уйти победителем или не
вернуться в "войско Римское", никогда.

— Ну, хорошо, Александр, — она улыбнулась, — я выслуша-
ла вашу гневную тираду, теперь вы послушайте меня. И я
советую вам поступить, как я скажу. Я отдам указание сей-
час же, чтобы вас перевели в спокойную палату, вам вернут
все то, что можно обыкновенному больному, я имею в виду
ваши продукты, сигареты...

— Папиросы, — сжелчил я.

— Хорошо, папиросы. Я, в свою очередь, более тщательно
ознакомлюсь с вашей историей болезни, а потом решим, что
с вами делать, какой режим вам назначить, какое лечение...

— Угу, уколов только мне еще и не хватало. И не вздумай-
те! И оставаться я у вас не собираюсь. Ночью пробью окно и
сбегу.

— Это бесполезный разговор. Вы же знаете, что они не раз-
биваются. В итоге, сейчас мы сделаем так, как я сказала...

Я мотнул головой, как буйная лошадь.

— По крайней мере, на сегодня вам придется это сделать,
у вас нет другого выбора. А завтра мы с вами встретимся и
поговорим снова, обстоятельно. Все-таки я — ваш лечащий
врач, — она улыбнулась.

На завтра таблеток мне никаких не дали. Это был первый
день, законный, мне не надо было бегать в туалет и плевать,
попадая в дырочку. Спал эту ночь я уже не в наблюдательной
палате. Это была малая, но победа.

21

Едва кончился завтрак, ко мне подплыла медсестра и ска-
зала, что меня ждет лечащий врач. Ничего такая медсестра.
Надо будет присмотреться потом, если останусь.

— Здравствуйте, Терпсихора Афанасьевна, — произнес я в
унисон с захлопывающейся дверью.

— У вас хорошая память.

— Я ономастикой занимался.

— Что это значит?

— Наука об именах.

— А-а, интересная вещь. Здравствуйте, Александр, садитесь.
Ты смотри, баба, молодец, не постеснялась спросить.

— Как окно?

— А? — не понял я.

— Рада, что вы не сбежали, — говорит она.

— А, — улыбаюсь я.

— Ну, что ж, ознакомилась я с вашей историей болезни...

— Уже! Весьма рад, вы не похожи на ваших коллег в преж-
ней больнице.

— Благодарю, весьма признательна, — она слегка наклонила
голову. — И решила не назначать вам никакого лечения. Толь-
ко пару таблеток, по три раза в день, корректирующих орга-
низм, другие — тонизирующие, бодрящие. А то слишком уж
вы пасмурно выглядите.

В глубине души я "подпрыгнул" до потолка: после Лины-
ных шести, которые гробили и изнутри и снаружи, две — были
просто пустяк.

— Ну вот, опять таблетки. От одних не отошел, уже другие
запихивают.

— Никто вам их запихивать не будет, но от того, насколько
честно вы будете принимать, зависит ваше скорейшее вы-
здоров... э-э, то есть я хотела сказать — выписка. А пока об
этом говорить рано.

Ясно, что о выписке мечтать не приходилось, но я, как мне
казалось, отыграл очень многое. У Лины я был просто раб,

который в душе трясся от одной мысли об инсулиновых шоках. Здесь было по-другому. Теперь надо было расположить ее к себе, понравиться, завлечь, обрести флер таинственности. Все-таки, бывалый человек в этих местах брал во мне верх: боялся — срок добавит, не сейчас, так потом.

— Я бессилён, что можно поделаться. Остается только подчиниться. Можете делать со мной все, что хотите...

— Ну, зачем же так грустно, Александр.

— Еще сто таблеток прибавить, еще двадцать уколов назначить. Вы все можете. И главное, что ни расскажешь, все перевернут. — Я глубокомысленно умолк.

— Что же вы хотели рассказать? — спросила она.

— Да так, ничего, неважно, — и я опять глубокомысленно замолчал.

— Раз не хотите, настаивать не буду. Вы только мне скажите: Наталья посещает вас? — Я вздрогнул, так непривычно было слышать ее имя из других уст.

— Нет, — ответил я. — Она сейчас за границей, у родителей.

— Вы хотели бы...

— Разговор никчемный, из области фантазий. Несбыточных. Никогда ничего не повторяется. Или повторяется, но не с нами.

— Что ж, Александр, до следующей встречи, — сказала она, — надеюсь, вы будете молодцом?!

— И то хорошо, что не "все будет хорошо".

— Что? — не поняла она.

— Так, ничего, — ответил я, — пошутил.

22

Итак, новая психушка, не известно насколько, новый этап моей жизни.

Я прошелся по коридору осмотреться. Все то же — коридор длинный, две наблюдательные палаты с санитаром, курилка, туалет, разница только в том, что окна никогда не открываются, так как первый этаж: столовая, стулья, столы, проце-

дурка, кабинет старшей медсестры. И еще комната отдыха: проигрыватель с заигранными пластинками и темный стол, приспособленный под теннисный, но длиннее, ракетки, шарик...

Открывали эту комнату только после тихого часа. Играющих мало, и я долбаюсь в теннис каждый Божий день, начиная с первого. Кстати, когда был первый Божий день? Никто не знает.

На следующее утро ко мне явилась медсестра и высыпала в ладонку не две, а три разноцветные пилюли. И, к моему удивлению, никто не стоял и не ждал, пока я их проглочу, и уж, тем более, не лезли в рот пальцем. Доверяют, значит, полностью. Но и я не обманывал, тотчас положил все пилюли в карман пижамы, а не засовывал в рот. Думал, так честнее.

Медсестра прошла, и я посмотрел на нее сзади. Она стояла того, чтобы обратить на нее внимание. Что я и сделал. После обеда. Я начал:

— Как вас зовут?

— Ира.

— Прекрасное имя!.. Мир обозначает это имя. Мою маму так зовут.

Она невнимательно посмотрела на меня:

— Симулируешь, что ли?

— В смысле имени?

— Нет, в смысле пребывания здесь.

— Да, по дурости попал, теперь не знаю, как выкрутиться. — И продолжал, — неужели тебе нравится здесь работать? Не боишься?

— У меня последняя практика, потом диплом. Но, скорее всего, вернусь сюда опять. Здесь спокойно.

— Что?! Среди психов и спокойно! Шутишь?

— Да нет. Раздала утром таблетки, в обед сделала уколы, вечером пересчитала всех, целый день — сиди, ничего не делай. Разве плохо?

— Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— Да ты совсем маленькая девочка.
Она улыбнулась.
— С родителями живешь?
— Нет, только с мамой.
Господи, сколько их, вот таких, живущих "только с мамой". А папы-то, где?!
— Меня, на всякий случай, Саша зовут.
— А я знаю.
— Как это? — удивился я.
— Так. Поинтересовалась, когда увидела, — и посмотрела на меня.
— А-а, благодарю за внимание.
— Ничего, не стоит, — сказала она, — больных надо знать по именам. — Она звонко рассмеялась, взглянув на мое лицо при слове "больных".
— Ты — милая девочка, и ты мне нравишься.
— Ты мне тоже...
— Как, уже?!
— Ты ведь не больной... я надеюсь.
Тихий час уже начался, мне надо уходить, чтобы не вякала старшая медсестра, проверяющая психов по кроватям. Я откланиваюсь и прощаюсь.
— Я дежурю сегодня вечером, — тихо говорит она.
— Угу, — отвечаю я, — приятного дежурства. — И исчезаю за дверью. Я почти вбегаю в палату, старшая уже там.
— Где вы были, больной имярек?
— Писил, — отвечаю я.
— Что-то я вас там не видела, — говорит она, пристально глядя на меня.
— А вы что, пользуетесь иногда мужскими туалетами?
— А-а... гм...
— Спокойной ночи, — говорю я среди бела дня и плюхаюсь на кровать. Жарко, я сплю без простыни. В палате тихо, спокойные психи попались и все на одно лицо, не различишь.

Солнце, как обычно, будит меня. Вокруг уже никого нет. Я встаю и иду в умывалку, в надежде стряхнуть дневную дрему. Коридор пустой и казенный. В нем ни души, и я иду в комнату отдыха. У меня там уже выкристаллизовался партнер, он из спортивного института. У него разряд по теннису, и он неплохо играет. Но на сегодняшний вечер я выигрываю у него пять партий подряд, разыгрался.

Потом сажусь к столу и начинаю заводить пластинки. Сто лет не слушал музыку, а тут еще такая прелесть — Мулерман: "Налетели вдруг дожди, наскандалили..."

Ужин дают, вроде даже ничего, почти что — съедобное. Я был не прав, когда ругался с Терпсихорой. В этой психушке, конечно, лучше, чем в предыдущей: кормят лучше, свободнее, относятся не как к скоту, не угрожают идиотскими инсулиновыми шоками — их здесь вообще не делают. А, может, мне просто повезло с отделением, я ведь в других не был, говорят, в других — хуже.

Вечер медленно опускается над городом. Сажу в столовой, в сумерках, у окна, и наблюдаю. Кто-то подходит сзади и говорит вполголоса:

— Пошли.

Я не спрашиваю ничего: зачем, какая разница, и иду. Все смотрят телевизор в комнате отдыха и не волнуют их страсти мирские. Мы заходим в ее кабинетик. Я сажусь за стол, опять у окна, она на кушетку, накрытую белой простыней. Я смотрю в окно и под фонарями, бросающими отсвет, вижу медперсонал, возвращающийся домой.

— Ты дежуришь сегодня в ночь?

— Да, — отвечает она.

— Почему ты меня позвала, это же запрещено. Не боишься?

— Так, захотелось. И чего мне бояться? Терять ведь нечего, когда не найдено ничего.

В дверь раздается громкий стук, я вздрагиваю.

— Кто это? — спрашивает спокойно она.

— Я, — отвечает голос, и я узнаю его, это голос Игоря, который играет со мной в теннис.

— Я занята сейчас, — отвечает она. Шаги удаляются.

Она объясняет, ни с того, ни с сего:

— Мой постоянный поклонник. Мама его каждую субботу приносит мне цветы и коробку шоколадных конфет. Говорит, что любит.

Я представляю худую, но стройную фигуру Игоря, короткий бобрик, молчаливое лицо, ни о чем не говорящее, замкнутое.

— Как он сюда попал?

— Кто-то какие-то дела делал. А когда попались, подсунили его... Он в физкультурном институте учился. А судье не все ли равно, кого. Его должны были посадить на большой срок, но родители сделали все возможное, и ему дали полгода принудительного лечения. А вообще, он здоровый.

— Угрюмый уж очень.

— Конечно, особо не повеселишься, когда за чужие грехи сидишь.

— С тобой он тоже такой... молчаливый.

— Не знаю, не обращала внимания. Тебе очень интересно о нем говорить?

— Нет, безразлично. А о чем еще говорить?

— Хотя бы обо мне.

— Что, о тебе?

— Поцелуй меня, — выдохнула она. Вскочила с кушетки и очутилась около меня. — Поцелуй, — и ее припухшие губы оказались возле моего лица.

Но целовать ее я совсем не хотел, мне никогда не хочется, когда меня просят.

— Э-э... пожалуйста, — замямлил я, — ты могла бы мне сделать одолжение, — сказал я, оттягивая, вернее, пытаюсь оттянуть неизбежное.

— Какое? — вскинулась она.

— Позвонить по телефону.

— Да, — немного растерянно сказала она, — пойдём.

— Нужно же разрешение врача?

— Это не твоя проблема, — она встала.

Мы тихо вышли из ее кабинета и проскользнули в кабинет врача. Она захлопнула дверь и включила свет. Никогда не был в кабинете врача, да еще без врача, тем более, вечером. Я невольно огляделся.

— Мне выйти? — спросила она.

— Как это? — не понял я. — Здесь еще, вроде, не свобода?

— Это та, из-за которой ты не хотел поцеловать меня? Я посмотрел на нее и рассмеялся.

— Да при чем тут та. Что ты говоришь!

Я набрал номер. Номер я еще помнил. Она села в кресло и забросила ногу на ногу, красивые у нее ноги, обалденной формы. Неторопливые гудки раздавались один за другим. Давно таких ног не видел. Она наблюдала за мной. Неприятное чувство, когда ты в пижаме, а за тобой наблюдает женщина с приятной грудью, выступающей из-под белого крахмального халата. Наконец, трубку подняли, слава Богу, хоть дома кто-то.

— Алиса, здравствуй.

— Ой, Сашенька, здравствуй! Куда же ты пропал, не звонишь?

— Я, видишь ли, не в доме отдыха и не могу звонить, когда мне вздумается.

— Ну, чего ты такой сердитый, киска?! Я тебя люблю. Выйдешь, я тебя на море увезу. А заодно и твоего братца.

— Спасибо, я и так, как на море. Кстати, ты могла бы сказать своему любовнику, а заодно и моему братцу, что у него тоже есть брат и он мог бы навестить его в субботу, хотя бы раз, за все мое лежание в этой еб... в этой идиотской больнице.

— А когда, киска?

— Не называй меня киска. У тебя свой кот есть, по субботам здесь приемные часы с 10 до 12.

— Киска, — она, видно, не слышала, что я сказал, — ты же знаешь, что в субботу мы уезжаем за город на дачу. И на воскресенье, он переутомляется за неделю.

— Отчего, от тебя?..

— Какой ты злой, киска.

— Да не киска я тебе! Подожди... — Я опустил трубку вниз от уха. — Послушай, эти господа высокого благородия изволят с субботы на воскресенье пребывать на даче. Можно что-нибудь придумать в другой день, а?

— Я дежурю через день, в пятницу. Если хотят, я могу пустить их в этот день.

— Алиса, в пятницу вы можете приехать?

— Конечно, киска, мы в любой день можем. Но ты же знаешь, что твоему брату покой, отдых нужен. Он так утомляется.

— Это, когда в постели валяетесь?

— Ну и от этого тоже, — захихикала она.

— Тогда, конечно, отдых ему нужен непременно. Где он сейчас?

— В постели...

Я расхохотался.

— Вот жизнь, позавидуешь!

— Да, а он ничего не ценит, — начала она, и я испугался, что сейчас продолжит в своем обычном духе.

— Ладно, до пятницкого свидания, целую вас по щекам, — сказал я и повесил трубку.

Ира смотрела на меня слегка расширенными глазами.

— Ты всегда так говоришь?

— Как? — не понял я.

— Ну, не так, как выглядишь... Совсем по-взрослому.

— Нет, через раз. Это тебе просто показалось, — ответил я.

Потом подошел к ней и ткнулся в ее губы, в знак признательности. Я, и в самом деле, был ей благодарен, так как уже полмесяца не мог никуда позвонить. Пока Лина разрешит — коммунизм в Америке наступит, а, если и разрешит, то специально днем, когда все на работе. А, если и удастся поговорить, то стоит рядом и слушает каждое слово, чтобы ты не сказал лишнего. Ни о них ни об их заведении, и, чуть что, сразу нажимает кнопку.

Она слегка отстранилась, взглянула на меня, а потом прильнула к моим губам так поспешно, будто боялась, что отнимут.

Наши губы еще не разомкнулись, когда с другой стороны скрипнула дверь кабинета. Правда, когда она открылась, мы были уже на почтительном расстоянии друг от друга, а я все чувствовал губы моей чересчур уж грамотной целовальщицы.

Вошла статная, стройная медсестра, с высокой грудью и в фирменных очках. Да что сюда только красивые идут работать, что ли? Было заметно, что очки она носит не часто, а лишь по необходимости, так как глаза ее были сильно накрашены, совсем не так, как у близоруких женщин.

— Вы звоните? — спокойно спросила она. Как будто это было совершенно обычным, что больной и медсестра вечером находятся в кабинете заведующего отделением.

— Нет, уже все, — ответила моя медсестра. — Это Таня, постовая сестра, а это — Саша.

— Очень приятно, — посмотрев на меня, улыбнулась Таня.

— И мне, — пробурчал я. С детства ненавижу замусоленные штампы. К чему говорить, что мне приятно, когда все — наоборот.

— Ну, мы пошли, — сказала Ира, — пора.

— Посидите чуть-чуть, я кончу — поговорим.

— Поздно, Тань, надо его (то есть меня) в отделение вести. Мы вышли из кабинета так же тихо, как и вошли.

— Я буду послезавтра, — сказала Ира, — тебе что-нибудь нужно?

— Нет, спасибо большое. У меня все есть, книгу только, если сможешь...

— Хорошо, — сказала она, взяла мою руку и задержала в своей. Вроде как прощальное рукопожатие, а я вроде и не понял.

Лампочка, тусклая, как бледный лимон, едва светит в палате. Мне, как всегда, не спится. Кто-то храпит, кто-то дергается, кому-то кажется, что его кусают. На меня вдруг нападают внезапные страхи. Мне начинает казаться, что, если я

засну, кто-нибудь из психов задушит меня. Я не сплю очень долго, пока не начинает светать. Потом проваливаюсь в какой-то тревожный сон, будто в забытье.

Просыпаюсь после завтрака. Меня не хватились, значит, другая сестра еще не знает, что я здесь и что вообще существую. Отрываю голову от подушки, на тумбочке таблетки и стакан воды. Значит, просто пожалела, не разбудила. С трудом встаю, весь разбитый и какой-то изломанный. Плечу умываться и закуриваю натошак, усевшись на лавке. Настроение — хуже быть не может. Бросаю недокуренную папиросу и встаю. Из наблюдательной палаты вылетает какая-то, лет тридцати личность, с кривыми плечами и бежит ко мне. Я замираю от ожидания неизвестности. Он, как вкопанный, останавливается передо мной и говорит:

— Я — Лева Уткин.

— Очень приятно.

Он не слушает меня и несется дальше.

— Убейте меня, убейте. Отца топором зарубили, мать сожгли, дочерей изнасиловали. Не хочу жить, не хочу! Убейте меня!

Он кричит еще что-то, а я вдруг думаю, что все это правда, и мне становится жалко его. Потом вспоминаю, где я. Дурак, сижу в психиатрическом заведении и во все верю. Лечить меня надо от легковерия. В башке муторно. И хочется есть, и не хочется. Неожиданно он возникает передо мной опять.

— Ну, убьете вы меня или нет? — категорично требует он и тут же исчезает в своей палате. То ли понял, что я его не убью, то ли — что мне это вообще ни к чему. Не хватало мне еще здесь убийцей работать, по заказам психбольных.

Тихо ползет время. Никто никого не трогает. Никто ни к кому не пристаёт, смирные здесь психи. Даже на меня не обращают внимания, хотя я — новый. Вот теперь захотелось кушать. Слоняюсь по палате, скоро ли у них обед? Наконец, кличат, думал, умру, пока дождусь. За столом сижу с тремя алкоголиками. Здоровенные мужики. Мнится мне, быка они каждый поодиночке убьют. А тут — "больные" лежат. Все трое сразу же полюбили меня, мне вообще везет на любовь

алкоголиков. Стол наш живет душа в душу. Складываем все в общий котел, что из дома приносят, и такие они солянки закатывают! Только водки под такую закуску не хватает, маются они без нее.

Подходит медсестра и высыпает мне в ладошку три таблетки, откладывая в сторону пакетик с моей фамилией.

— Спасибо большое, — говорю, — что не разбудили.

— Пожалуйста, — отвечает она, — но это не моя заслуга.

— Как вас зовут? — спрашиваю я (точно, ономастикой увлекся).

— Тамара.

— Царское имя, — говорю (хотя она страшная). — Спасибо еще раз, Тамара.

— Не за что, — кивает она и отходит. Я поворачиваюсь ей вслед... Эта хоть не красивая: рыжая, и звать Тамаркой, совсем, как в блатной песне. Когда в последний раз уходил я с моего факультета, самая модная песня была: "Гоп-стоп, Зоя, кому давала стоя?!" Но глаза у нее добрые.

Мы с алкоголиками наворачиваем салат, прямо из общей миски. Чего бояться, они ж не сифилитики. Алкоголики, вообще, по дамам не гуляют. Счастливые, больше удовольствий получают. Дают борщ. О, борщ! Твое дыхание прекрасно, я уже забыл, как ты выглядишь. Пробую, вкусный до одурения. Съедаю молниеносно, хлеб не крошу. В детстве папа только и мог меня заставить есть борщ, если я крошил в него хлеб. А в гостях неприлично было... Беру тарелку и бегу за добавкой. Первое можно брать на добавку, а второе — нет.

— Здравствуйте, — говорю раздатчице, она же и повар. — Борщ бесподобный, сто лет такого не ел.

Она сияет:

— Я тебе сейчас еще налью, мой миленький. Погоди, мясца подложу.

— Спасибо большое, — говорю, — я к мясу спокоен.

— Мясо нужно всем, особенно мужчинам, — говорит она, и морщины разглаживаются на широком ее лице.

— Хотите, помогать вам буду обед разносить?

— Ох, ты, сыночек мой хорошенький, спасибо большое. А то у сестер времени нет, а я одна, разве все могу!

Представляюсь:

— Меня Саша зовут!

— А меня — тетя Шура.

— Мы еще и тезки! — смеюсь я.

Возвращаюсь со своим добавочным борщом к столу.

— Ты что, тетю Шуру уже подцепил? — улыбаются алкоголики. — Сказочная женщина, все мясо в ее руках. Может, мяса будет перепадать больше.

— Уже, — говорю я и киваю на добавку.

Компота тетя Шура мне наливает от пуза. Компот я люблю и пить могу до изнеможения. В тихий час я опять засыпаю и просыпаюсь несообразующий и сонный. Что-то непонятное творится, раньше спать днем никогда не хотелось. Титаническим усилием надеваю пижаму и иду в комнату отдыха, чтобы куда-то идти. Мой партнер Игорь играет с кем-то в теннис. В углу, у проигрывателя, который я хочу завести, сидит большеголовый детина с лысой головой и осторожно ощупывает голову огромными руками. Это Никита. Он сюда после армии попал, не дослужил, рехнулся.

— Никита, — обращаюсь к нему, — поставь музыку.

— Не умею, — смущенно бормочет он.

— Как так? — спрашиваю я.

— Ну, просто, — еще более смущенно бормочет он и щупает голову руками. — Парень, — неловко говорит он, — как тебя зовут?

— Саша.

— А меня — Никита, го-го-го! (Как иерихонская труба.)

— А я знаю, — говорю я.

— Откуда? (Надо посмотреть на это неопишное лицо и это удивление на нем!)

— Люди сказали.

— У-у! — он с уважением смотрит на меня, и его лысая голова что-то сообщает.

— Слушай, будет война?

— Не знаю, — отвечаю я, — но, скорее всего, да.

— Почему?

— Людям не хрена делать, правительствам, в смысле, и

правителям. Мучаются, дурь наружу выходит и войной лечатся.

— А-а, — произносит он непонимающе, чего-то соображает и говорит, — а ты будешь моим командиром?

— Конечно, — говорю я, — только твоим командиром и буду.

— Ты обманываешь меня?

— Нет, Никита, честно.

— Ну, только не обманывай меня, ладно? — и его широкая, как блин, физиономия блаженно расплывается.

Я говорю ему:

— Как же я могу тебя обманывать, такого большого. — Вообще-то он широкий, а не большой.

— У-у, — довольно рокочет он, — это я в мамку.

— Какой же у тебя тогда папка, если мамка такая? — смеюсь я.

— А я его не видел, не знаю, — и глаза большие, как у коровы, подергиваются дымкой синевы.

Опять без отца.

— Ты откуда, Никита?

— Хохол я, з Украины, — вместо "с" говорит "з" и притом медленно, заторможенно, все отдельно, как будто ему фразы тяжело подбирать.

— А сюда как попал?

— Да з армии.

— Что ж ты там наделал?

— Та ничего. Всю жизнь в деревне прожил, командиров не было. А тут как навалились, шо куры не хватили. Каждый дергает меня, командует, а я устал. И каждый день уставал больше. А раз майор, вроде не мой, пришел и зкомандовал. Ну, я взял автомат на него навел да еще и курок нажал,

— Ну и что? — обалдеть, как мне нравился его язык.

— Да он незаряженный был. Много их командиров там, а я — один. И голова у меня одна, — он обхватил ее и пощупал.

— И тебя сюда послали?

— Угу, — и опять щупает голову руками.

Ну, парень, молодец! Понравился мне.

— Чего голову-то руками щупаешь?

— Волосы где-то потерял.

— Ищешь все время, что ли?

— Угу, не могу найти.

Ну, умора, парень.

— Саша (надо же, запомнил!), а ты вправду будешь моим командиром? — И смотрит на меня, а морда бесподобная!

— Правда.

— Ты меня обманываешь?..

— Конечно, обманываю, возьмешь и выстрелишь в меня потом, как в своего командира.

— Нет, — говорит Никита, и в его глазах ужас, — я в тебя стрелять не буду, ты хороший. Я тебя люблю...

— Да что ты! Спасибо, утешил ты, меня давно никто не любил.

С тех пор Никиту отлепить от меня было невозможно, ни за какие деньги. Он ходил за мной по пятам и просил, чтоб я командовал. После каждой команды он непременно возвращался, находил меня из-под земли и просил командовать еще.

Игорь выиграл партию, и я занял место проигравшего.

В углу сидел какой-то Попов — я случайно слышал его фамилию — скуластый малый с неприятной физиономией и неприязненным взглядом оглядывал меня. Я бы сказал, с гнусной физиономией. Он всегда сидел в углу и всегда наблюдал, когда играли.

Сначала Игорь выигрывал у меня, потом я догнал его, и счет сравнялся. Так мы резались до ужина, и на протяжении всего этого времени он не сказал ни слова, кроме нескольких "да", "нет", "твоя подача". "Разговорчивый" молодой человек. Алкаши сидели и смотрели, они болели за меня.

Во время ужина я помогал тете Шуре разносить кашу. Мне она вместо каши дала картофельное пюре, оставшееся после обеда. Кашу я органически не переваривал. А после, как все разошлись, подозвала меня и дала еще стакан компота. Я явно пользуюсь популярностью у психов и их персонала. К че-

му бы это, когда тебя психи любят? Не успел я допить компот после ужина, как Никита снова прилип ко мне.

— Чего? — спросил я.

— Саш, скомандуй, а?

— Что тебе скомандовать, Никита?

— Чего-нибудь, а?

Изнасиловал он меня уже своими командами.

— Теть Шур, полы мыть надо? Никита! Полы мыть, раз-два!

Он виснет на мне и пытается на радостях залепить поцелуй в самые губы. Потом хватает у тети Шуры ведро, тряпку и швабру так, что она остолбенела, и несется за водой.

А я слышу позади себя голос:

— Больным по вечерам не разрешается разговаривать с обслуживающим персоналом.

Оборачиваюсь — Таня.

— Здравствуйте. Почему же по вечерам только?

— Потому, здравствуй.

— А с каким персоналом разрешается?

— Только с медицинским.

— И конкретно?

— С медсестрами. Пойдем, — она берет меня за локоть и куда-то ведет. Мы усаживаемся на скамеечку в неосвещенной части коридора. Коридор пуст, все в комнате отдыха смотрят телевизор.

— Значит, вчера на меня внимания не обратил и разговаривать не захотел?! — начинает она.

— Нет, что вы.

— Почему же на "вы"? Я стара? Или так плохо выгляжу?

Нет, выглядит она очень даже неплохо. Красивая, с очень живыми, играющими глазами. Чувствуется, привыкла всегда делать то, что хочет, повелительница.

— Не то, чтобы стара, — начинаю медленно я.

— А что, что? — перебивает она, улыбаясь белыми крепкими зубами.

— Достаточно мило выглядите...

Она опять перебивает:

— Наконец-то, изрек, — и засмеялась. — Чего ты такой стеснительный?!

— Я совсем не стеснительный. Скорее даже, наоборот, — нахальный. Просто не могу так сразу начать "тыкать".

— В жизни все должно быть сразу: и любовь, и чувства, и прощания. И поцелуи, — говорит она и загадочно смотрит на меня. — Хочешь, поцелуемся?!

Да, что они тут, посдурели, что ли?!

— Нет, — говорю я, — не хочу.

— Почему? — она явно удивлена.

— Во-первых, потому, что медицинской сестре целоваться с пациентом в коридоре психиатрической больницы — не совсем подходящее место...

Она хватается за руку и говорит:

— Пойдем на ту половину, там у меня кабинет пустой. — И тянет меня, как будто я уже согласился.

Не больница, а одни развратницы! (Да еще в белых халатах, ничего не прикрывающих.)

— А, во-вторых, — продолжаю я, — я привык целоваться тогда, когда я этого хочу...

— А сейчас не хочешь?

— Нет, — пожалуй, вру я.

— Жаль, — говорит она. — Ты такой... гладенький, — и проводит кистью руки по моей груди, голой из-за распахнувшейся пижамы.

Я вздрагиваю, как ушибленный током. У нее такая, знаете, рука... Видимо, почувствовав это, она продолжает:

— Так почему же все-таки ты не хочешь... целоваться?

— Вчера я уже это делал, — придумываю я.

— С кем, с Ирккой, что ли? Так она же ребенок. А я — женщина. Ты понимаешь разницу между ребенком и женщиной?.. — Она льнет своей высокой грудью к моему нескладному плечу, и тут у меня в голове мутнеет. Ох, какая у нее грудь, бесподобная. Честно говоря, это то, чем можно взять меня... Тонкие пальцы ее руки силой поворачивают мою голову к ней, скользят с затылка на шею, она наклоняется ко мне и впивается в мои губы.

Минут пять я вообще ничего не помню.

— Ну что, целовал тебя кто-нибудь так? И, если скажешь, что да, больше я не прикоснусь к тебе.

Я не хочу, чтобы она больше не прикасалась ко мне.

— Нет, — говорю я, — пожалуй, что нет, — и на сей раз не вру.

— Хочешь еще? — глаза ее блестят в темноте.

— Нет. Голова кружится.

— Маленький мой, — ее рука гладит меня нежно и скользит вниз, совсем вниз, гладит ласково, даже призывно.

— Пойдем на ту половину, — она щекочет меня под подбородком.

— Поздно, — говорю я. Как бы в подтверждение моих слов психи валят толпой с телевизора и растекаются по палатам. Кажется, рыжая Тамара — последняя. Она запирает дверь, вглядывается внутрь и видит нас.

— А вы, что здесь сидите? — спрашивает она.

— Кокетничаем, — отвечает моя другая целовальщица. Красивое слово, звучит, как купальщица.

— А кто разрешил так поздно, после отбоя, сидеть с больным?

— А кто сказал, что младший персонал может требовать ответа от старшего?

(Молодец, ничего не боится!)

— Ладно, я шучу, не заводись, — говорит Тамара. И добавляет, — счастливая ты, Танюха, сидишь спокойно тут, а через два дня...

— Язык твой — враг твой, Тамара. Прикуси лучше, — перебивает резко она и встает со скамейки, стройная, красивая, чужая, — пошла я на свою половину, погляжу. Забирай своего подчиненного. — Она протягивает мне руку и поднимает меня с места. Ее узкая сильная кисть быстро стискивает мою, ласково и нежно гладя, и, кажется, с неохотой отпускает.

Я иду в одиночестве в палату, все уже поулеглись спать. Психи вообще быстро засыпают, либо не спят никогда. Тускло светит лимонная лампочка. Я раздеваюсь и ложусь. И

опять меня охватывает страх, что ночью меня удушат. Почему-то все кажется, что подушкой навалются. Чуть какая-то, идиотство. А заснуть не могу. Ворочаюсь с боку на бок, сон не приходит. Кто-то храпит, кто-то снова во сне дергается. Психи, — а спят, а тут не псих — и заснуть не можешь. Резко вскакиваю... Фу-у ты, чуть, показалось. Надеваю пижаму, выхожу в пустынный тусклый коридор. Иду в столовую, темно, лишь в окнах что-то мерцает, светится. Поворачиваю стул от стола и сажусь у окна. Я люблю сидеть у окна. Тишина. Нет, так нельзя, так свихнуться можно, опять не сплю, надо что-то придумать. Сзади чьи-то крадущиеся шаги. Я не поворачиваюсь, опять кажется. Чьи-то руки молниеносно накидываются на мои глаза и закрывают их. Я резко вздрагиваю. Руки гладят мои глаза, и я чувствую прикосновение груди к моему затылку. Потом моя голова попадает в ложбинку, ту, самую прекрасную ложбину (у одних — ложбинка, у других — ложбиночка). Впечатление, что мою голову хотят там удержать. Глаза мои по-прежнему закрыты ладонями, и их не отпускают. Слышу жаркий шепот, прямо в ухо:

— Я знала, что ты придешь, — шепчет Таня.

— Я не к тебе пришел, заснуть не могу.

— А я к тебе шла. (И что это за манера нападать сзади, подкрадываться, ведь не в парке все-таки.)

— Куда, ко мне?

— В палату.

— Ты что, серьезно?

— Конечно. Я всегда серьезная...

— Я же там не один.

— Да ну их, еще внимание обращать. Все равно ничего не понимают, тупые. Я же тебе сказала, что все надо делать сразу... Или не делать. — Она опять целует мое ухо. Что ж это за губы у нее! Она гладит меня, руки ее снова соскальзывают и крадутся туда...

— Почему ты не можешь спать, мальчик?

— Не знаю. Чуть какая-то лезет в голову.

— Это со всеми бывает иногда, не принимай близко. Тем более, в таком окружении. Ты и так молодец, держись.

— Спасибо, как приятно здесь доброе слово, человеческое.

— Хочешь, дам тебе снотворную таблетку?

— Да, очень. Хоть засну наконец.

— Одну? — спрашивает она.

— Я боюсь, что мало будет. На меня никакие таблетки не действуют.

— Хорошо, подожди.

Она ушла. За окном шум, подъехала "психовозка", наверно, привезли еще кого-нибудь. Счастливцев. У него все только начинается... Где-то хрустнула отмычка, раздались тихие, неслышные шаги. Она прикоснулась к моему плечу.

— Вот седуксен, снотворное. Я встал и пошел в туалет. Положил в рот сразу две таблетки и запил их пригоршней воды, набранной в руки.

— Ну, как? — она взъерошила мои волосы.

— Все нормально, — ответил я. — А где санитары? Я проходил — не видел их.

— Ты думаешь, они всю ночь сидят? Дрыхнут на свободных койках в наблюдательных палатах.

— А кто же будет следить за больными?

— Кому это нужно, милый. Неужели они за эти гроши еще и стараться будут! А почему тебя это интересует?

— Просто так, — ответил я. Я и сам не знал, почему меня это интересует.

— Тебе пора, мой хороший, скоро должен начаться обход ночного врача. И таблетки уже, наверно, начали действовать?

Она взяла меня за руку и ввела, как маленького, в палату, усадила на кровать, сняла с меня куртку, расстегнутую до низу, потом пижамные брюки (я был в плавках, тайком пронесенных с собой), откинула мое плечо так, что я опустился на подушку, затем укрыла меня простыней и сказала: "Спи. Пусть приснится тебе самое лучшее, то, что тебе хочется..." Она, кажется, поцеловала меня, а я, по-моему, прошептал:

— Спокойной ночи, — и рухнул в забытье, как подкошенный.

Кто-то будит меня, толкает, щечочет. Или мне это видится во сне. Чьи-то слова:

— Нет, ты посмотри, какие у него плавки, как-то протасил сюда. Надо будет загнать, может, на бутылку хватит...

Я прищуриваю нераскрывшиеся глаза. Алкаши пришли, зовут меня на завтрак. Приподнимаюсь на локте, в палате я один. В столовой уже слышен стук ложек и голоса.

— Давай, вставай, быстро, — улыбаются они, — пошли солянку из помидор есть.

В голове хмель ночной. Странно, у меня никогда такого не было. И тут я вспоминаю, что выпил две снотворные таблетки. Это впервые. Зато как я спал! Как Бог!

Завтракаем мы не торопясь и с чувством. Смакуя и радуясь своему здоровью. По-моему, один наш стол здоровый во всем отделении: алкаши да я.

Слышу за спиной голос: "Ваши таблетки" — и оборачиваюсь. Ира стоит в белом халате.

— Доброе утро.

— Доброе утро, — отвечает она, высыпает таблетки нам в руки и уходит. Я кладу таблетки в карман. Алкаши свои глотают залпом. Они все глотают, что им не дадут, что можно глотать.

Иду в палату и прислоняюсь головой к стенке, вернее, моя голова сама прислоняется и вдруг проваливаюсь в какую-то дрему. Потом чьи-то голоса, сборы на прогулку, хлопанье дверей... Кто-то трясет меня за плечо. Я не хочу открывать глаза. Все это через какую-то пелену.

— Кто? — не открываю я глаза, умираю — спать.

— Я, — отвечает она. — Раскрываю глаза. Снова Ира. Сидит рядом со мной на кровати.

— Что-нибудь случилось? — спрашиваю я.

— Там к тебе дама пришла, вся в желтом.

Я все еще не могу очнуться. Спрашиваю:

— Она одна пришла, эта дама?

— Нет, с ней красивый мужчина, похожий на тебя. Это твой брат?

— Угу, нас случайно один папа родил, мама не присутствовала.

Она смеется.

— Могу я их увидеть?

— Конечно. Я за тобой пришла.

Она выводит меня в коридор, открывает дверь в предбанник, где обычно ждут посетители, и выпускает меня туда, к ним.

Леська вспархивает с кресла, прыгает мне на шею и целует, попадая куда-то в ухо. Она и вправду в ослепительном шифоновом желтом платье. Наверно, последний крик европейской моды, ей стюардессы все "оттуда" привозят. Краем глаза вижу, как Ира морщится от ее поцелуя. В углу, чинно, в кресле, с большим достоинством сидит мой брат. Он грациозно встает, берет мою протянутую руку, пожимает ее и, одновременно склонившись, целует меня в щеку.

— Ну, здравствуй, Санчик, — он меня всегда так зовет, когда в хорошем настроении или вкусно поел.

— Здравствуй, — говорю я, — вот вы и в нашей обители. Как же это ты встал сегодня так рано, неужели во имя меня такая жертва? Неземная...

— Да Леська на 9 утра такси заказала, ненормальная, — говорит он. Хорошо, хоть искренен!

— Ах, да, — оборачиваюсь я, — это Ира.

— Леся, — скромно представляется Леська, ну, прямо ангел.

— А это — мой брат, — и добавляю, — старший.

— Очень приятно, — говорит Ира, и сейчас, впервые, она мне нравится. (Идиот, все не вовремя.)

— Я оставлю вас, Саш, а через полчаса тебя заберу, хорошо?

— Угу.

Она захлопывает дверь.

— Санчик, — верещит от восторга Леська, — а что там, правда, одни психи?

— Нет, — отвечает брат, — там одни здоровые, но положили их туда как психов.

— Я не тебя спрашиваю, — говорит ему Леська и дергает плечом. Чтобы у них не разыгралась "сцепка", я говорю:

— Да, Леся, больные, но не такие страшные, как это кажется оттуда, — и я киваю на улицу.

Леська смотрит на дверь отделения, пытаюсь что-то рассмотреть сквозь нее. А я смотрю на брата, некогда моего любимого брата. Господи, как все переменялось за этот год! И эта красавица в желтом платье, которая велит себя звать почти купринским именем Леся, не последняя вина тому.

Купринская краса по-крупному фарцует и зарабатывает в день от ста до пятисот рублей. Снимает квартиру у "Ботанического сада", и мой брат живет уже с ней четвертый месяц. Днем она "работает", а вечером водит его развлекаться в рестораны, бары, на джаз-концерты. Платит, конечно, она. У нее психология мужика, по-моему, — сама берет, сама меняет. Разодела его. У нее везде связи, кругом знакомые, блат. Ну, зачем вам нужен другой пример, вот новый сутенер XX века. И он еще оправдывает это, доказывает: все нормально, так и должно быть. А она дошла до того, что не пускала его со мной встречаться, чуть что, орала, что куда он не пойдет, выдумывала разные дела. И, самое главное, он соглашался с ней и оставался. Как купленный ею.

— Ну, как живешь, Санчик? — спрашивает мой купленный брат.

— Что это тебя вдруг заинтересовало на четвертую неделю, когда три прошли? — отвечаю я.

— Ладно, не обижайся. Леська все, дела у нее какие-то, помощь нужна.

Леська не выдерживает и вставляет:

— Что Леська, опять Леська! Я тебе сто раз говорила, что брата проведать надо, что он один и ему скучно. (Так я ей и поверил.) Ты пока свой зад поднимешь, — продолжает она, — то тебе поспать еще надо, то лень вставать, то жарко ехать, то дождь собирается, то ты не доехал, то переехал...

— Молчала бы, козявка, — добродушно улыбается он, — развякалась. — Он сегодня, видимо, в хорошем настроении.

— Я тебе не козявка, я тебя кормлю и пою, а ты свою жопу

оторвать и сдвинуть не можешь, даже к родному брату. — И тут, кажется, начинается.

— А кто вечно мне орал, — накаляется он, — не поедешь никуда, опять по бабам попретесь, по делу? А мне лапшу на уши, что вам по делу — то папе звонить, то тетю провожать. — Потом, подумав, он добавляет, — ах, ты, суконка! — и ярость его, вроде, утихает. Святая ярость.

— Не смей меня так называть, говно! — верещит Леська, — никогда в долгу не останется.

И тут они все-таки заводятся, не удержавшись даже в больнице. И начинается: они орут, и шипят, и рычат друг на друга, выливая такое количество грязи, что у меня уши вянут. Я среди психов такого не слышал. Я сижу и молчу, только верчу головой то в одну сторону, то в другую, так как они сидят в разных углах.

— Ты ж не мужик! — в голос орет Леська, — плюхнется после кабака на кровать и через пять минут нет его, ни поцелует, ни обнимет, ни возьмет. Ну, и братец у тебя тюфяк!

Я поворачиваю голову в его сторону и жду реакции-ответа.

— Заткнись, дура! Я не могу на тебе лежать целый день. Вообще, пошла отсюда, это мой брат (брата делить стали!).

— Да какой там он тебе брат? — верещит она. — Ты о нем ни разу и не вспомнил. Я его люблю и то больше, чем ты, потому что он киска (она на секунду улыбается мне, потом свирепо рычит ему в лицо), и, не заставь я тебя, так ты бы и сейчас не приехал.

Доводов, видимо, у него нет.

— Заткнись, дура, сейчас по роже дам.

— Давай, давай, покажи брату, что ты и это умеешь.

Этого я не знал, что он умеет. Раньше такого никогда не было.

— Ты представляешь, Санчик, я ему макароны немного пережарила в прошлую субботу. Он начал на меня гавкать...

— Я не гавкаю, а говорю, — по его лицу видно, что ему эта история нравится.

— Он начал на меня гавкать, а когда я "довела его", как он сказал, взял и швырнул в меня горячий утюг.

"Оказывается, в нем еще остался мужчина", — с удовлетворением подумал я.

— И остался громаднейший ожог! — она бесстыдно задирает конец платья вверх от колена и показывает мне на смуглом бедре темно-красное огромное пятно.

— Ты что, голая завтрак готовила? — улыбаюсь я.

— Ага, после постели, — хмыкает она.

— И это дерьмо, — она тыкает в него пальцем...

— Не тыкай пальцем, малограмотная, сколько тебя учил.

— И это дерьмо встает с меня, из моей же постели, попользовавшись мною, и в меня же швыряет утюг.

Он от души улыбается, глядя на нее и ее пыл.

— Что ты ржешь, идиот! Ты знаешь, как болит? — И говорит, оборачиваясь ко мне, — и вонючий доктор, даром что деньги платят, хотя я ему раз в пять больше даю, даже не знал, как снять боль от ожога.

— Я хороший доктор, но ты не хотела меня слушать, — говорит он.

— Ты говнючий доктор, — шипит она.

— Я прекрасный доктор, — говорит он.

— Ты говнючий доктор и поганый мужик, — заводится еще больше она.

— Я прекрасный доктор и бесподобный мужик.

— Ты говно! — орет Леська, — и как доктор, и как мужик! И не выводи меня из себя.

— А ты блядь, — спокойно говорит он и ухмыляется.

— А ты мудака, — еще громче орет она. — Третий раз меня за ночь факнуть не можешь. И не выводи меня, а то поедешь домой на транспорте!

— С тебя и двух хватит. И того много, лежишь — жопу повернуть не можешь. Тоже мне, суперженщина!

— Ах, — орет она, — я же еще и плохая! Какое же ты говно!

Они орут опять, как оглашенные, клянут друг друга и выворачивают наизнанку свою интимную жизнь (из которой я узнаю, что Леська не умеет делать хорошо минет, потому что у нее полипы в носу, а он, "какое говно", не хочет целовать ее туда, куда она хочет). Они лаются и продолжают это до

тех пор, пока не щелкает отмычка в коридорной двери, из-за которой появляется Ира. Она не понимает, в чем дело, и смотрит на меня. Я киваю ей и говорю, что все в порядке. Леська успокаивается первой. Она вообще сразу отходит и через мгновение забывает все плохое. Мордаха ее раскраснелась, и я решаю, что, пожалуй, она неплохая и приятная девка, но с братцем моим еще нахлебается.

— Вот, так мы и живем, Санчик, — говорит она и уже улыбается. Вдруг ей что-то хочется.

— А можно, я посмотрю внутрь? — говорит она и смотрит на Иру.

— Не выдумывай, — говорит мой брат. — Тебя еще только психи не видели. — Она не обращает внимания на его слова.

— Ну, можно? — спрашивает она. — Мне очень интересно, хоть одним глазком. — Ира вопросительно смотрит на меня, я киваю, пожав плечами.

— Пойдемте, — говорит она Лесе и открывает дверь.

Леська с любопытством подходит к двери и осторожно заглядывает внутрь, наверно, ожидая увидеть чудовища или всадников без головы. Она делает шаг, второй вперед, щелкая по линолеуму своими красивыми, ярко-красными босоножками на высочайшем каблуке. Ира идет за ней.

— Я смотрю, ты здесь пользуешься успехом? — говорит мне брат.

— Угу, — многосложно отвечаю я, чувствуя почему-то неприязнь к тону, каким был задан вопрос. (У меня абсолютно нет настроения говорить с ним на эту тему.)

— Она делает вещи, — продолжает он, — за которые может попрощаться с работой. Это я, как доктор, знаю. Не для Леси же она это делает... — он улыбается губами.

— Да, — соглашаюсь я. — И, кстати, то, что она вашему величеству дала возможность посетить меня сегодня, а не в субботу, она тоже делать не должна.

Он перестает улыбаться, мы встаем и подходим к двери. Леська дошла уже до половины столовой и внимательно заглядывает в палату напротив нее. Нос у нее сейчас бесподобный, как у лисенка, почувствовавшего добычу. Ей это на-

столько нравится, что она, кажется, не дышит. И что тут интересного. Я так им завидую: солнце, свободные, здоровые, едут за город и не видят этих рож...

— Леся, — негромко говорит брат, не выдерживая, — хватит, вернись.

Она поворачивается назад и неохотно возвращается, стараясь не стучать высокими каблуками. Ира закрывает за ней дверь и останавливается рядом с моим креслом.

Глаза Леськи расширены от восторга:

— Я никогда не была в таком месте!

— И напрасно, — вставляет брат, — тебе как раз здесь и место.

О, Господи, неужели опять! Но Леська не отвечает ему.

— Спасибо, Ира, — говорю я, — за экскурсию...

— Да, спасибо большое, — сияет Леська и быстро достает из сумки, которую взяла в руки, непчатый тюбик французской помады — она привыкла за все платить.

— Леся, — говорю я, — успокойся.

— А что? — спрашивает она. — Что тут такого, я просто хочу подарить. Она мне понравилась, к тому же она хорошо относится к тебе.

— У нее есть.

Брат молча наблюдает за этой сценой, потом говорит:

— Чем тебя кормят? (Отечская забота!)

— Всем понемногу, — отвечаю я.

Все замолчали, вроде, говорить больше не о чем.

— Почему ты меня не спросишь, как я себя чувствую? Больной я или нет? — неожиданно взрываюсь я.

— Я не сомневаюсь в этом, — говорит он.

— В чем?

— Что ты здоровый.

— Ну, спасибо. Слава Богу, хоть один не сомневается.

— А что, Ира сомневается? — спрашивает он, переводя разговор на шутку.

— Нет, конечно, — улыбается она. И говорит мне:

— Саш...

— А, да. Мы, к сожалению, не в свободном мире, а в деловом. Так что, мне пора идти.

— Вы не можете оставить его еще на немного?

— Нет, чтобы сказать спасибо, — улыбаюсь я, тронутый тем, что он все-таки хочет побыть со мной еще немного.

— Да, конечно, Ирочка, огромное спасибо за все. Мы уже уходим. Так, стало быть, Санчик, расскажу тебе на прощанье эпизод из моей ранней жизни. — Он любил пересказывать яркие эпизоды и впечатления из жизни и молодости вождя (то есть о себе) мне, не яркому представителю народа. — Когда я учился в мединституте, на четвертом курсе у нас была практика в психиатрической больнице, вот, типа твоей. (Прекрасное сравнение!) Так в той больнице был один больной, который дни и ночи писал стихи. Он писал их в столовой, в туалете, в палате — везде, где бы он ни находился. Он писал, и его не могли вылечить от этого. Прекрасные были стихи, и один куплет я до сих пор запомнил:

**Когда прекрасная Наташа
Грудями трахнула меня,
И мне сказала: "Я вся ваша",
Чтоб не сказать, что я твоя!**

Он расхохотался, а я представил себе этого психа, пишущего стихи. Вообще, у меня прекрасный, остроумный брат. Они встали. Брат поправил пояс на новых велюровых брюках. Леська с материнской заботой оглядела его и вспомнила:

— Да, мы тут тебе принесли кое-что, — она протягивала вязанку больших сочных ярко-желтых апельсинов.

Вот и окончилось посещение брата братом.

27

Грустно как-то. Немного. Отчего-то. Я пошел в палату, сел на кровать и подумал. Просто подумал, ни о чем. Может себе человек раз в жизни позволить — подумать ни о чем. Совсем. Совсем просто так.

До обеда было тихо, и кругом стояла тишина. Обед начался почему-то шумно. Я иду к раздаче и беру полное до краев ведро с борщом. На раздаче стоит другая женщина.

— Здравствуй, — говорит она.

Я опускаю ведро.

— Ты, что ли, такой помощник хороший?

Я киваю головой. Я был уже согласен делать, что угодно, лишь бы не сидеть, как пень, или не слоняться по коридору 24 часа в сутки. А ведь когда-то я смеялся над психами-добровольцами в той больнице и думал, чего это они вечно лезут помогать по доброй воле, сами предлагая себя.

— Шура мне о тебе рассказывала, — говорит она и улыбается. — Не нахвалится тобой. Меня тоже зовут Шура.

— Значит, вы вторая тетя Шура, — улыбаюсь и я.

После тихого часа я пошел играть с Игорем в теннис.

Попов по-прежнему сидит в углу и молча, ненавидя, наблюдает. Пристал Никита, чтобы я ему скомандовал. Я скомандовал ему — поставить пластинку бесподобного певца Мулермана. Благо, после нескольких часов моего вчерашнего труда, он научился это делать. Но каждый второй раз у него не получалось. И только мои угрозы, что пошлю его на "гауптвахту", помогали ему, с Божьей помощью, заводить пластинки. Игрю я проиграл все партии подряд. Дико захотелось курить. Ушел в курилку и сел у окна, уткнувшись в него лицом. На душе было тоскливо и погано. Замкнутое пространство. Когда все это кончится? Почему так несправедливо устроена жизнь? Я должен сидеть здесь, в заточении, без воздуха, без воли, а женщина, которая мне нравится и которая, наверно, все-таки была богиней для меня, находится далеко, и я не нужен ей. Те, кому нужен я, не нужны мне. Мой друг Венька сидит в другой психушке, думая, что я на свободе, и, вместо солнца далекого Израиля, видит в окне зарешеченное небо. Я хочу увидеть Ольгу, но это невозможно. А можно лишь забыть ее. Всем чего-то не хватает. Значит, что-то в жизни устроено не так. А если бы все было так, то можно ли это назвать жизнью? Нет. Наверно, жизнь — это и есть вечное стремление что-то обрести и вечная невозможность это сделать. А обретя окончательно, мы — покойники. Что-то занесло меня на грустные мысли: жизнь — смерть. Тут от Гераклита до Толстого не могли решить, что истина, а что — нет, где вечное, а где тлен. И я туда же... Возвращаюсь к себе в палату.

— Саш, а я тебя ищу. Скомандуй, а?

Ох, Никита, тебя только не хватало. Я смотрю на его круглую, сосредоточенно вперившуюся в меня физиономию, и не могу сдержать улыбку.

— Садись, Никита, рядом.

Он в порыве радости лезет целоваться. Раньше я не разрешал ему это делать, садиться на кровать — боец должен быть аккуратным. Ему-все-таки удастся вылизать мою щеку, прежде чем я отрываюсь от него.

— Ты где живешь, Никита?

— На Украине.

— Да, это я знаю. В деревне или в городе?

— В деревне, с мамкой. Мамка утром крынку .молока всегда приносила, хлеба каравай. В обед картошка, только что выкопанная, вареная и с подсолнечным маслом, огурцы малосольные, — вкусно, аж во рту хрустит.

— Ты у нее один?

— Ага, больше никого. Она же потом... без батьки осталась.

Счастье матери, забрали в армию единственного сына, а психом вернули. Да еще в деревню он таким вернется. Эх, жизнь, жизнь наша, от кого, от чего ты зависишь. А он сидел в ожидании приказа и опять щупал свою голову осторожно, двумя руками. Я смотрел на него и не знал, то ли мне плакать, как маленькому, то ли смеяться, как большому...

Наступил вечер. Кончился ужин. И психи стадом повалили к телевизору. Я тоже отправился следом. Деваться было некуда. Я примостился у выхода на чьем-то стуле. Шли "Новости", психи ждали кино. Новости были "интересные": страна рапортует партии об уборке хлеба; Курганская, Могилевская, Ташкентская области; доярки в честь XXШ съезда надоили столько с каждой коровы, что заслужили право быть посланными на него не то гостями, не то делегатами; трактористы и водители работают по три смены без сна, а хлопкоробы Таджикистана вообще вытворяют невероятное, охренеть, что понаделали с хлопком!

Кто-то касается моего плеча на самом интересном месте: "Американская система — гигантская акула капитализма".

Я оборачиваюсь и узнаю ее в темноте по белому халату.
— Ты мне нужен, — говорит Ира.

Я встаю и выхожу за ней. Какой я послушный стал, на себя не похож. Она заводит меня в кабинет, захлопывает дверь и сразу обнимает:

— Я так ждала, целый день... — и целует меня.

Что мне думать о какой-то женщине, гостящей у родителей где-то в Югославии! Я обнимаю ее талию и начинаю отвечать на ее поцелуи. Целую ее шею, лицо, глаза. А она закинула назад голову и извивается в моих руках.

Сидеть в психушке и тискаться с неплохой девочкой — в это я и сам не верю. На свободе таких — днем с огнем не сыщешь. Неужели им мужиков на воле не хватает? Она целует мои губы и втягивает их в себя. Какие интересные мысли ко мне приходят, и главное — вовремя. Теперь она целует мой подбородок... Она расстегивает мою куртку и прижимается ко мне. Я поднимаю ее голову и долго смотрю в глаза. Потом отпускаю, я не знаю, нравится она мне или нет и как бы все сложилось, если бы был на свободе.

Стук в дверь прерывает мои размышления. Она непонимающе, как будто забыла, где она, смотрит на меня.

— Кто там?

— Ира, открой. — Моя куртка уже застегнута на все пуговицы. — Я занята, Игорь, подойду к тебе позже.

Интересно, догадывается ли он, чем она занята.

— Тебе не жалко его?

— Нет.

Шаги удаляются и затихают где-то вдали. "А чтобы я чувствовал, если был бы на его месте", — думаю я.

— Вечно кто-нибудь помешает, — грустно говорит она.

Я улыбаюсь и говорю:

— Не забывай, что ты все-таки на работе...

— Да? — смеется она, — я совсем забыла. — Она снова прижимается ко мне и шепчет, — мне очень жаль, но я не увижу тебя два дня.

— Почему два?

— Я поменялась дежурством, у Тани послезавтра свадьба, — отвечает она.

— У какой Тани?

— Которая входила в кабинет, когда ты звонил.

— Как свадьба? — уже совсем неумно спрашиваю я.

— Очень просто. Выходит человек замуж за другого человека, и это называется свадьба. Что тебе тут не понятно? Я смотрю, ты совсем залежался среди больных, — она улыбается.

Чтобы что-то сказать, я спрашиваю:

— Когда ты появишься, значит?

— В понедельник, — отвечает она. — И буду работать два дня подряд. Ты рад?

— Спокойной ночи, — говорю я, — пойду, боюсь за тебя.

Я выскальзываю из ее двери и иду в палату. Тускло мерцает лимонная лампочка у входа, все уже, по-моему, спят. А мне опять мучиться.

...Суббота, суббота. Сегодня приемный день. Тетя Шура первая улыбается мне из раздаточной и спрашивает, придет ли моя любимая. Я отвечаю, что у меня такой не существует. Не знаю, вру я или нет.

Приходит медсестра и называет мою фамилию. Я лечу в комнату отдыха, радостно, как на крыльях.

— Санечка, — говорит Анна Ивановна.

Как я скучал по ней. Опять принесла мне пакет с фруктами, едой, папиросами.

— Ну, как ты, маленький, — спрашивает она, — не обижает никто?

— Что вы, Анна Ивановна, наоборот.

— Но и ты психов не трогай, будь умней их. — Я смеюсь. Мне забавно, как это можно быть умнее психов. — Они же больные люди, а ты здоровый, — она пылливо смотрит мне в глаза. Я не понимаю этого взгляда.

— Как на воле? — спрашиваю я. — Как ваши собачки? — У нее две белые болонки, одна из них моя любимица.

— Привет тебе передают, ждут, когда выпишешься.

Я тоже передаю им привет и говорю, что завидую их собачьей жизни. Они живут человеческой жизнью, спокойно, без забот, а мы, то есть я, живу собачьей — в клетке, в суете, в желаниях.

— Ничего, Санечка, потерпи. Я поговорю с твоим доктором, чтобы она сделала что-нибудь для тебя. Она, вроде, лучше той, предыдущей. А?

— Сил нет, Анна Ивановна. Двадцать четыре часа взаперти и среди психов. Я рехнусь тут. Иногда появляется желание схватить стул и начать крушить все, без остановки.

— Что ты, малыш, разве можно так распускаться. За это тебе только добавят месяцы, и ты опять не выдержишь, сорвешься...

Она смотрит внимательно на меня. Опять тем же взглядом, что и минуту назад. И говорит:

— Что-то мне не нравятся, малыш, твои мешочки под глазами. — Я молчу. — Ты знаешь, что у тебя они появились под глазами?

Дальше молчать было неудобно.

— Да, — коротко ответил я в надежде, что это конец. Но это не был конец.

— Почему ты не отвечаешь мне, Санечка? Что случилось?

— Ничего, все в порядке, — вымученно улыбаюсь я.

— Я не уйду отсюда, пока ты мне не расскажешь.

— Да нечего рассказывать, все просто: я не могу спать.

— Как? — она изумлена, и я не понимаю, чем.

— И что ты делаешь? Я же знаю тебя, что ты что-то должен делать.

— Мне дают тайком снотворное, и я пью его.

— Почему же тайком? Почему ты не попросишь своего врача?

— А потом прибавят еще два месяца, сочтут за какой-нибудь симптом.

— Санечка, Санечка, — качает она головой.

— Анна Ивановна, вы только не говорите врачу, когда будете с ней разговаривать.

— Я не скажу. Только позвоню твоей маме и попрошу, чтобы она сделала все возможное — надо тебя скорее отсюда вызволить. До хорошего это не доведет. — Она обнимает мою голову двумя руками. Мы сидим рядом, она качает ее из стороны в сторону, совсем потихоньку, и приговаривает: "Мальчик мой, мальчик".

После тихого часа я решил идти на прогулку. Умывшись, стряхнув остатки дневного сна, стал я в вереницу психов, ожидающих пересчета для выхода на прогулку.

Я подхожу к двери и называю свою фамилию.

Рыжая Тамарка — она дежурит сегодня — смотрит на меня и говорит:

— Ты что, Саш, заболел?

— Нет, просто погулять хочется.

Выхожу в предбанник. У другой двери стоит санитар, молодой, студент мединститута, который подрабатывает здесь летом. Сзади слышу, как один из больных называет свою фамилию:

— Сулин.

Тамара смотрит в список и сама с удивлением говорит:

— Тебе отменили прогулки на два дня.

Странно. Сулин — тихий верзила с длинными руками, привезли его сюда сразу после армии, где, как говорили, прослужив два года, он немного тронулся. Он — тихий псих, никогда никому слова не скажет.

— Почему? — удивленно спрашивает он.

— Не знаю, — отвечает она, — следующий.

— Почему? — снова говорит он, не уступая дорогу следующему.

— Доктор твой не разрешил. Я же не знаю.

— Доктора моего позови, — требует он.

Тамара непонимающе смотрит на него:

— Да нет доктора, суббота сегодня. А дежурный тебе не разрешит, если лечащий не пускает.

— Что я сделал? — мычит он, и мне не нравится его мычание.

— Я не знаю, — отмахивается она, — я ж не доктор, а сестра.
— Пусти на прогулку, я всегда хожу, — гнет он свое.

Увидев вены на его шее, я подошел поближе. И тихо, вполголоса, сказал:

— Тамара, осторожно.

Ответить она уже не успела.

— Непустишь! — взревел он и изо всех сил размахнулся.

Она, видимо, привыкла к психам. И прежде, чем его рука настигла ее, успела отскочить в сторону. Рука его врезалась в стену. Я думаю, он бы убил ее, если бы попал: штука-турка пластом осыпалась до кирпича.

— Сулин, Сулин, — заговорила она быстро, — успокойся, что с тобой. Придет доктор...

Он двигался на нее:

— Я гулять хочу, не надо мне доктора, пусти!

Смотреть на него было страшно, он весь изменился: глаза ошалело бегали по сторонам, то замирая, то вращаясь, вены вздулись на шее и, набухшие, туркали на руках, кулаки сжались и подергивались, желваки перекосили лицо. Сутулое огромное тело заслонило собой полкоридора. У него начался типичный припадок бешенства, о которых я много слышал, но видел впервые.

— Пусти! — прохрипел он, двигаясь на нее какими-то круговыми движениями. Позади сбилась пугливая кучка психов и среди них Никита.

— Не могу без разрешения доктора, — отступала она.

Он бросился к ней с воем, похожим на рев, пытаясь колотить кулаками ее голову слева направо. Она успела присесть, и в бешенстве он не замечал, что бьет стену. Она извернулась, выскользнула из-под него и отскочила почему-то ко мне.

— В кабинет, Тамара...

— Не знаю, что делать, — успела ответить она.

— Быстро! — вырвалось у меня. Он двигался в нашу сторону и был уже совсем близко. Я лишь успел сказать:

— Сулин, ну что ты, успокойся, она же не виновата. — Вечно мне больше всех надо. В следующее мгновение я пожалел об этом.

— А! — бросился он на меня, не соображая.

— Успокойся, — говорю, — ты что, она же женщина.

— Я убью ее! — заорал он так, что у меня загудело в ушах.

Он осатанело обернулся, будто искал что-то потерянное, и снова бросился на нее. Очень проворно она успела заскочить в кабинет и захлопнуть перед ним дверь. Он повернулся ко мне и замер. Мне кажется, что до него дошло, что это именно я, а никто другой, пытался защитить ее. И, уразумев это, он двинулся на меня. Правая его рука устрашающе поднялась, и он так и шел с поднятой рукой, чтобы прибить меня. Я стоял у стенки, напротив него, деваться мне было некуда. Он двигался на меня не спеша, как убийца на беззащитную жертву. Все мысли вылетели у меня из головы, и я только думал: выживу или нет после его первого удара.

Неожиданно сбоку возник Никита и проныл:

— Саша, скомандуй, а? (Нашел подходящее время!)

Со всего размаху (даже не глядя на него) Сулин левой ладонью дал ему по лицу. Никита упал плашмя, без единого звука, не шевелясь.

"Господи, и это с левой", — подумал я и отскочил назад, в предбанник, где среди перепуганных психов находился молодой санитар, который устроился сюда на лето.

Неподвижно распластанное тело Никиты лежало передо мной; я отступал шаг за шагом, а он шаг за шагом приближался ко мне, деться было некуда. Припадок его достиг кульминации. Его трясло, и, по-видимому, ему нужна была жертва. Теперь нас разделяло полпредбанника. И чего они такие маленькие?

В углу стоял длинный стол, но что из него извлечь в этой ситуации? Я замер, отступать дальше было некуда. Я уперся спиной в выходную дверь. Закрытую.

В конце концов я тоже потерял самообладание. И чего это я должен быть жертвой этого психа? Я тут же прикинул, что смогу нанести ему удар т у д а изо всех сил. На мне были комнатные туфли, но, как назло, без задников. Этот удар ему сейчас, как слону дробинка.

— Сулин, — попытался я, на всякий случай, что-то сказать,

— приди в себя. — Куда там! Он, как наэлектризованный, крутанул головой и тотчас увидел стол. И нашел ему применение.

Мозг больного изобретательней, чем мозг здорового. Он схватил стол двумя руками, вскинул его вверх и полукругом размахнулся над моей головой... Как я успел увернуться, не помню. Он проломил насквозь дверь надо мной. Ах, ты дерьмо, — думаю, — невинного человека убивать! Вскрываю и не своим голосом зову его:

— Иди теперь сюда без стола, я тебе устрою Бородино. — Что я собирался сделать, не представляю.

Тем временем он мучился, вытягивая обратно стол из двери. Наконец, ему удалось это. И теперь он разворачивал стол.

— Может, ты будешь что-нибудь делать, — спросил я перепуганного санитаря, — все-таки это твоя работа, а не моя.

Он только судорожно мотнул головой, и я понял, что делать он ничего не будет и вопрос свой я задал напрасно. А этот идиот опять шел со своим столом на меня. Ну, давай, — предсмертно размышлял я, — размахивайся, мне бы только пару секунд, и я пробью твой пах убийцы так, что ты ляжешь рядом со мной.

Он уже занес стол надо мной. Вот и все, — последнее, что подумал я, — как глупо и обидно. И, что было сил, размахнулся ногой. Наши удары пришлись одновременно, мой, может, — на секунду раньше...

— В чем дело? — резкий властный голос раздался над моим ухом. Даже не голос, а крик. Сулин замер на мгновение и обернулся. В проломе двери стояла врач, наверно, дежурная, вызванная Тамарой. — В чем дело, я вас спрашиваю, больной?

Я понял, она переключала его внимание на себя, давая мне возможность скрыться. Он смотрел на нее и не знал, что делать.

— Немедленно опустите стол, — сказала она. — Как ваша фамилия, больной?

Он сглотнул что-то и прохрипел:

— Сулин.

Только теперь опустил он этот идиотский стол. Она обернулась к белому от страха санитару и скомандовала:

— Всех на прогулку!

Он не заставил себя долго ждать и первым исчез в отворенную дверь. За ним цепочкой потянулись больные. Дверь захлопнулась за ними с таким мерзким скрежетом.

— А вы? — спросила она у меня.

— Помогу вам. — Она даже не стала спрашивать, почему я, "больной", буду помогать ей.

— Пойдемте в палату, Сулин, я посмотрю вас, — сказала дежурная. — Разве можно так волноваться? Вас же сюда лечиться положили.

— Гулять пустите, — завел он. (О. Господи, опять!)

— Как же вы можете идти гулять в таком состоянии?..

— Гулять хочу!

— Хорошо, Сулин. Я измерю вам пульс и давление, послушаю ваше сердце, а потом сама отведу вас на прогулку.

Она взяла его за руку и повела к палате, кивнув мне, чтобы я шел за ними. Усадила его на край кровати и стала над ним. На меня он уже не обращал внимания, словно перед этим все было шуткой. Он тяжело дышал, и в горле у него что-то булькало.

— Принесите мне аппарат для измерения давления, — попросила дежурная, — он у сестры в кабинете. — Она явно не решалась оставить его одного. При слове "сестра" он дернулся, и вены его снова стали вздуваться.

29

Когда я вернулся, Сулин сидел на кровати, тяжело дыша. Я оставил аппарат на тумбочке, возле кровати, и отправился к Тамаре. Она курила, нервно и глубоко затягиваясь.

Вскоре за окном послышался гул мотора, в дверь раздался стук, и в процедурную вошли два парня в белых без рукавов халатах. Она быстро пересказала им все, что произошло.

— А это кто? — спросил один из них, показывая пальцем на меня. Может, они подумали, что я это и есть он?

— Это, как сотрудник, он нам помогает.

— Сотрудник в штатском, — сказал один и рассмеялся. Тамара все еще говорила им, какой он сильный и здоровый, и в глазах ее таился испуг.

— Не бойся, мать, — улыбались они, — не в первый раз... Но, кто знает, может быть, в последний...

Один был грузин с борцовской шеей и ухоженными щеточкой усами. Другой — русский паренек, явно щупловатый для таких дел, с очень стройной фигурой. Как они собирались справиться с Сулиным, оставалось непонятным. Уже выходя, один остановился и сказал Тамаре:

— Готовь аминазина побольше. Дверь входную он разворотил, что ли?

Мы вошли в палату, когда Сулин застегивал рубаху после измерения давления.

— Гулять когда? — снова начал он.

— Сперва нужно сделать укол, вы возбуждены, — ответила врач.

Он снова вскочил и зарычал:

— Не хочу уколов, не буду спать! — И ринулся к середине комнаты. Стоявшие в двери ребята бросились к нему. Один сказал:

— Ну что ты, друг, разве можно так? Ты же чуть своего врача не сбил с ног. — А руки их уже были под его руками.

— Не хочу укол! — взревел он, — на прогулку! — И рванувшись вперед, развернул повисших на нем ребят, как пушинки. (Я стоял у двери палаты и думал о тленности земного бытия.) Но тут, по-видимому, и ребята вышли из себя. Они силой толкнули его, и грузин подставил ему подножку. Сулин упал на одно колено, и они быстро навалились на него. Он глухо взревел от злобы, дернулся и лишь наполовину встал, как они, словно воздушные шарик, разлетелись в разные стороны.

— Сулин! — крикнула дежурная, — успокойтесь!

Но было видно, что он уже вышел из-под ее влияния, и бросился к двери, где стоял я. В этот момент появилась врач, Клавдия Ивановна, с другой половины и молодой сани-

тар, который отвел психов на прогулку и непонятно зачем вернулся.

Сулин не знал, что делать: то ли таранить эту живую стену у двери, то ли что-то еще. Он заметался взад, вперед, и ребята бросились к нему, снова схватив его за руки. Он опять расшвырял их, притом так, что грузин отлетел в дальний угол, больно ударившись головой о спинку кровати.

Затем он встал, спокойно взглянул на Сулина и без всякого выражения на лице сказал нам:

— А ну-ка, выйдете все, быстро. Через несколько минут войдете.

Я догадывался, что сейчас произойдет, и мне вдруг стало жалко этого Сулина.

— Ребята, пожалуйста, не надо... я вас очень прошу...

Грузин посмотрел на меня невидящим взглядом. Он ждал, пока мы уйдем.

— Сулин, ну успокойся ты, наконец, ведь сам же потом пожалеешь, — сказал я.

Сулин стоял, не двигаясь, будто речь и не о нем.

— Хорошо, — сказал грузин, — начнем, пожалуй.

Они обошли его с двух сторон и взяли под руки, как будто собирались вести на прогулку. Руки он им дал. Они попытались повернуть его к кровати, но он опять их двинул так, что они едва удержались на ногах. Тогда грузин быстро подсел, и, невероятно напрягшись, резко выпрямился, толкнув его вверх, под плечо. Сулин на мгновение оторвался от пола, и в этот же момент стройный паренек сделал ему классическую подсечку сзади. Сулин упал лицом вниз, на пол. Раздался страшный стук, и мне показалось, что у него все там переломалось и выбилось — переносица, подбородок, зубы. Наверно, ему было очень больно, потому что он на миг замер. Они же сразу навалились ему на голову и плечи. На сей раз он не взревел, а с нечеловеческой силой стал бешено выкручивать-ся из-под них, и это выглядело еще страшнее.

— Поможем, быстренько! — сказал грузин.

Теперь мы навалились все: я куда-то на ноги, санитар около меня, Клавдия Ивановна и дежурный врач на спину, а

ребята выкручивали ему что-то наверху. Его припадочное тело билось под нашими, и не было никакой уверенности в том, кто победит. Он забился в новом приступе бешенства, и мы почувствовали, что он ускользает от нас. И тут, щуплый паренек, от которого я никак не ожидал такой прыти, проделал то, что, вероятно, спасло всех нас. Он навалился Сулину на плечи, обхватив одной рукой его горло и взяв как бы в замок свою другую руку. От прикосновения к горлу Супин дернулся, и паренек резко, изо всех сил, нажал свой ручной замок. Сулин хрипел в изнеможении, ему нечем было дышать. А паренек все давил и давил его хрипевшее горло.

Мы стояли вокруг, а Сулин лежал, скрученный вниз лицом, как большая рыба, все еще пытавшаяся трепыхаться.

— Шприцы! — коротко приказала дежурный врач, — аминазин!

— Сели на него, — сказал грузин, — а то иглы поломает.

Когда все окончилось, щуплый паренек, который занимался его горлом, достал сигарету и стал зажигать ее.

— Больной в палате, — посмотрела на него доктор.

— А, да, — извините, — он вышел. — Грустно могло получиться из-за твоей доброты, — сказал он. — Я понимаю кивнул. — Ладно, забыли. Все хорошо, что хорошо кончается. Выписывайся только скорей и не советую тебе лежать среди психов. Они только с виду тихие...

— Но вы-то работаете?

— Если бы не деньги на жизнь, меня бы сюда за миллион не заманили. — Он показал головой на грузина: пропуску себе московскую зарабатывает. Раньше борьбой занимался...

Я слоняюсь по коридору без дела и захожу к Сулину в палату. Клавдия Ивановна говорит, что он уснул и уходит к себе. Я присаживаюсь на тумбочку и от нечего делать болтаю ногами. И вдруг я холодею от ужаса. Из-под одеяла, которым укрыт Сулин, высовывается его рука и тычет в мое висящее в воздухе колено:

— Где она? Я ее все равно убью. Сойди с тумбочки, дай мне ее. Тумбочкой убью...

Я ухожу в столовую, где сидит Никита, который, оказыва-

ется, все это время пробыл у окна. Он трет щеку и смотрит на меня:

— Больно, Саш, скомандуй, чтоб прошло.

Под скулой у него уже вызревает громадный темно-синий кровоподтек от перебившей сосуд сулинской ладони.

Наступает ночь. Все ложатся спать. Чувствую, что мне сегодня вообще не уснуть. На потолке вяло мерцает лимонный пятаяк. Наверно, только психи и могут спать, когда горит свет. Мертвенный, мерзкий цвет. Я не выдерживаю, одеваюсь и иду в Тамарин кабинет попросить снотворное. Она дает все, что я прошу, и я ухожу, бережно унося в руке два целлофановых гнездышка с белыми птенцами посредине. В умывалке я быстро глотаю птенцов и иду спать. Я лежу в кровати и еще долго не могу заснуть: как все странно меняется. Вчера брат, сегодня Анна Ивановна, потом Сулин, — жизнь течет...

30

Воскресенье — пустой день. Одиноким санитар уныло сидит у дверей наблюдательной палаты. Врачей нет. Сестру днем с огнем не сыщешь, нянечку — тем более. Есть в жару не хочется, тетя Шура все время пытается что-то затолкать в меня. Я сижу за столом и ковыряю пюре.

За соседним столом вдруг звякает ложка, мужчина вскакивает, швыряет кусок хлеба и убегает в палату. Алкоголики объясняют, что это Белинский, у него "голоса", которые общаются ему, что вся еда отравлена. И каждый раз он мучается и не может есть. Раз в несколько дней сестре удается покормить его с ложки. Перед этим она ест сама, доказывая ему, что еда не отравлена. Но это бывает редко, обычно его держат на глюкозе, чтобы не умер с голода.

Я абсолютно ничего не могу есть, хотя и не слышу голоса. Оставляю свою порцию алкоголикам и ухожу в палату. Пытаюсь уснуть, нырнув с головой под простыню, пока никто еще не вернулся с обеда. Впереди тоскливый вечер, потом еще более тоскливая ночь. Когда же я вырвусь отсюда? А выпишусь, что дальше? Чем заняться, чему себя посвятить?

...Второй час подряд играю в теннис и ловлю на себе ненавидящий взгляд Попова. Неужели я такой человек, что люди не могут равнодушно относиться ко мне: либо я им нравлюсь, либо они осатанело меня ненавидят. Вот, как Попов. Отчего он меня ненавидит, если я никогда и слова ему не сказал. Из комнаты отдыха я ушел, когда стемнело и психам включили телевизор. Мне почему-то кажется абсолютным идиотизмом телевизор в сумасшедшем доме. От нечего делать иду в процедурную. Дверь неожиданно открывается:

— Здравствуйте, давно не виделись!

— Тамара! — искренне рад я, — ты опять сегодня работаешь?

— Да, Иру заменяю.

— А почему тебя целый день не было видно?

—Из-за Сулина, дурака, все убить грозит.

— Не обращай внимания, это у него чисто нервное.

— Угу, — говорит она, — чисто нервное! Шваркнет тумбочкой по голове, и нет тебя. Я уже понасмотрелась на них. Тут такое кругом творится.

— А где он сейчас?

— В наблюдательной палате, санитар стережет. Второй день не спит. Шизоид! Кто их только таких рождает? А ты заходи, чего встал в дверях?

Я сел около нее.

— Тамар, я любопытный, чего тут "такое творится", ты сказала?

— Тебе расскажи, потом греха не оберешься!

Но я вижу, ей хочется рассказать.

— Кругом такой к р ш м а р . . . — продолжает она. — Тут есть такое отделение 51, где я раньше работала. Там одни буйные хронические психи лежат, неизлечимые. Они оттуда не выходят никогда. Каждый в своей клетке за решеткой. Вдоль коридора ходит санитар, как надзиратель, с железным прутом или резиновой дубинкой. Врачи туда вообще не появляются, хотя отделение, вроде, существует для научных исследований. В туалет их не выводят. У каждого в углу клетки параша. Раз в день дежурный (из наиболее "спокой-

ных") выносит ее под надзором двух санитаров. За это, в награду, он получает глоток свежего воздуха и пять минут ходьбы, так как на прогулки их не выводят. Вечно там полумрак, потолок в грязных разводах никотина, и этим они дышат. Иногда соседи по клетке "схватываются" через прутья и молотят один другого до умопомрачения. Санитары их не разнимают, а только развлекаются. И если кто-нибудь особенно долго орет, они берут одеяло и, загнав психа железным прутом в угол, набрасывают на него одеяло. Больной падает, и тогда они начинают его бить ногами, прутом, чем угодно, пока тот еще подает признаки жизни. Другие в это время наблюдают через решетки, что творят с их соседом. По идее, это должно быть для них уроком. Очень удобная вещь — психическое заболевание, что хочешь, то и делай. Тебе всегда поверят, больному — никогда. А врачи, которые берут деньги и за это держат больных? А санитары из женского отделения, которые затаскивают и запирают в ванную больную и насилюют ночью? Кто что докажет. Больная страдает психическим расстройством, ей просто почудилось все это! Медсестры тащат из отделения кто что может, жить-то надо. Я бы тоже тащила, да что-то внутри не позволяет. В женских отделениях целые ночи "занимаются лесбосом", а что поделаешь, изолированная среда, не представишь же к каждой медперсонал. Я уже не говорю о медсестрах — законченных уродках. Те часто остаются в ночь и по выходным дежурить по собственной воле. Когда санитар спит, они заводят к себе в кабинет, невменяемого, раздевают его догола и делают с ним все, что хотят — и раз, и два, и три, пока не насытятся. А под утро уводят назад. Одна даже порывалась мне показать, как это делается, ей хотелось, чтоб со стороны посмотрели. А больной не соображает ничего, только мычит да дергается. А малолетние проститутки? Их засовывают сюда вроде, как больных, потому что они уже с 13 лет идут на панель. Их, якобы, лечат, как больных, а эти сучки здоровы, как кобылы. Месяц назад вшестером изнасиловали двух санитаров, молодых ребят, они тут на практике были. Привязали к сетке под кроватью, прорвали в ней отверстие

и насиловали всю ночь, по очереди. Один там же умер, второй до сих пор в больнице. А им хоть бы что, больные, вроде, малолетние. — Она замолчала, то ли утомившись, то ли не желая продолжать. — Ладно, забудь все. Мы даже между собой стараемся не говорить об этом.

— Я все забыл, — сказал я, — ты мне ничего не рассказывала. Только навсегда запомню.

Она посмотрела на меня:

— А ты говоришь, что интересно. Страшно! Да никуда не денешься: жить-то надо.

Проснувшись наутро, я неожиданно вспоминаю, что сегодня обход Терпсихоры, так как ее не было два дня. Надо быстренько стать радостным. Грусть — ведь тоже симптом. Я выбегаю, чищу зубы, умываюсь, причесываюсь и возвращаюсь в палату. Оправляю пижаму и становлюсь спиной к двери. Спустя две-три минуты слышу голос Терпсихоры, разговаривающей с кем-то в коридоре. Краем глаза вижу в двери ее халат. Я уже весел, радостен, напеваю, заправляя койку, — труд облагораживает человека, веселье удлиняет его дни. Она останавливается позади меня. Я делаю вид, что не замечаю ее, и, как жизнерадостный болван, верчусь над койкой. Поистине, жизнь — это игра.

— Доброе утро, Саша, — слышу я.

— О! Терпсихора Афанасьевна, доброе утро! — весело ее приветствую.

— Как мы себя чувствуем? От депрессии, вижу, и следа не осталось, веселишься, поешь! И даже поутру, когда даже я себя муторно чувствую...

— А у меня все прекрасно. И даже поутру. Не дождусь только, когда выйду отсюда.

— Понятно, — говорит она.

— Терпсихора Афанасьевна, ну, когда вы меня отсюда выпустите, не могу я здесь. Все время взаперти.

— Рановато еще, дружок, ты здесь не пробыл и без году недели, и я буду скучать по тебе.

— Сколько же еще, сколько, Терпсихора Афанасьевна?

— Хотя бы месяц. Такой порядок, раньше не могу. Мы об-

следовать тебя должны... Говоришь, что ты веселый, а посмотри, какая тоска у тебя в глазах. А я только и сказала одно слово "месяц". Видишь, неуравновешен ты, подвержен срывам, мы должны тебя укрепить.

— Но это же не причина, держать меня в психушке для укрепления.

— Возможно, и нет, но, раз ты к нам попал, мы тебя подлечим.

— Да, чтоб я окончательно рехнулся после вашего лечения.

Она улыбается:

— Кто тебе сказал?

— Александр Сергеевич Пушкин, был такой поэт. Вчера пришел ко мне в гости и сказал. Знаете, что он сказал?

— Нет, — отвечает она.

— Саша, уходи! — сказал он. — Гениально, не правда ли? И как я вообще могу с вами общаться, если вы даже Пушкину не верите?!

— Большой Этьюд, ваши лекарства, — слышу знакомый голос. Смотрю на алкоголиков. Ира им жутко нравится, и они мне страшно завидуют или, если хотите, она им страшно нравится, и они мне жутко завидуют. Если хотите, то так. Как хотите.

— Да, — оборачиваюсь я, делая безразличный вид. Надо же какой-то вид делать, иначе, что за жизнь, никакой игры.

— Ваши лекарства, — сияет она.

— Ир, можешь ты мне хоть раз не совать эти проклятые лекарства, чтобы я мог поесть.

В столовую влетает Лева Уткин. Он никогда не ест со всеми, ему носят в палату. И орет Ире:

— Топор принесла, принесла топор?! Заруби меня! Не хочу жить один на свете, всю семью погубили.

Она отвечает:

— Принесла, он у тебя под подушкой, в палате.

Он несется, как бешеный, за топором, и она уходит следом за ним.

Завтрак кончается. Во, местечко! Одних топором убить надо, вторым еду отравили, третьи... третьи уже без снотвор-

ных таблеток спать не могут. Отправляюсь в туалет, просто, от нечего делать. Не сидеть же в палате. В туалет я не хочу. Хотя люблю ходить туда часто. Но сейчас я не хочу. Захожу и вижу: Лева, который только что бегал по столовой, вешается на цепочке от бачка над унитазом и, чтобы повиснуть, поджимает ноги. Я подлетаю к нему в два прыжка. Хватаю его руку, удерживающую цепь на шее, подбиваю его ноги, чтобы он мог обо что-то опереться, и тут же расслабляю металлический узел на его шее, снимаю с него цепочку.

— Лева, ты что, дурак, или тебе жить не хочется? — задаю я идиотский вопрос.

— Саша, убей меня, убей, я не хочу жить, — начинает он плакать; а мне и грустно и смешно.

— Я не медсестра, Лева, чтобы убивать тебя.

— Зачем ты мне помешал, зачем? — Он плачет сильнее, и мне уже не смешно. Я выталкиваю его из туалета, отвожу в палату и укладываю в постель. Стою над ним и думаю: зачем я ему помешал? Ну, зачем?

Появляется Ира и говорит:

— Я должна сегодня сидеть на прогулке, идем, погуляешь тоже, а то я не выдержу одна.

— Нет, не пойду, — тяну я.

— Почему? — расстраивается она.

— Потому, что ты идешь...

Она смеется и улетает счастливая.

На прогулке, когда мы с Ирой сидели на скамеечке, к нам подкатил парень, который мне открыл кое на что глаза.

— Здравствуй, лапочка, — сказал он с мерзким акцентом, не кавказским — сюсюкающим, слегка нагловатым, в меру сладким и в меру требующим голосом. — Новенький, что ли? — кивнул он небрежно на меня. Меня взбесил его голос, и лишь ее рука, до боли сжавшая мою, остановила: всякое говно будет спрашивать обо мне в третьем лице.

— Да, — ответила она.

— Приезжий, что, корешок? (Фу, мразь какая.)

— Нет, он из Москвы, — ответила за меня Ира.

— А я Гарик, из Азербайджана, — он протянул мне руку.

Мне сразу представились потность, волосатость, блуд, извращения одной и той же руки.

Я не сдвинулся. Прошла первая секунда, вторая, третья. Он ждал, держа руку. Я высвободил свою из Ириной. У меня закон: всегда бить первым. Вторым, не стоит, будет поздно. Ира протянула ему свою, из которой только что освободилась моя рука, и сказала с усмешкой:

— Ира.

Все обернулось в шутку. Не обращая на меня внимания, он заговорил с ней примерно таким же тоном, каким обычно говорят между собой старые знакомые в присутствии нового и почти неизвестного им человека.

— Принесла? — спросил он, и меня передернуло от этого его тона.

— Нет еще, — ответила она, — я на свадьбе была.

— А купила?

— Да.

— Ну, это хорошо. Завтра работаешь?

— Да.

— Тогда принеси завтра. Очень хочется, буду ждать.

— Ладно, я в отделение тебе занесу.

Их странный разговор был окончен, его, кажется, позвали.

— А ты, я смотрю, неплохо устроился, — не утерпел он и облапил нас с Ирой взглядом.

Наверно, я, было, уже наполовину поднялся, когда она повисла на мне. Не дала двинуть.

— Гарик, все, договорились, до завтра, — торопливо сказала она.

Он хмыкнул мне в лицо и ушел. Медленно, о чем-то раздумывая, она убрала свои руки с моих плеч.

— Что, с ним тоже? — спросил я.

— Ты что, ненормальный?! Он же в другом отделении.

— Ага, значит, только потому, что он в другом отделении? Но возможности такой ты не отрицаешь. Значит, могла бы, могла?!

— Ну, что ты, Саш, успокойся. Милый, что с тобой? — Она положила свою руку на мою.

Я, как ужаленный, заорал:

— Убери свою мерзкую руку, которой прикасалась к его, — вскочил и ушел в другой конец двора. Почему я такой сегодня? Какое мне дело до нее и, вообще, до них всех? Неужели потому, что Терпсихора выбила меня из колеи со своим "месяцем"?

31

После тихого часа, проспав, как убитый, я встал, надел пижаму и, умывшись, отправился играть в пинг-понг.

Я вошел в комнату отдыха. В очередь за теннисным столом никого не было, так что я оказался первым. Остальные играть не умели.

У стены, как всегда, сидел скуластый Попов, наблюдающий за шариком. Изредко он бросал на меня свой ненавидящий взгляд. Мне, вообще, казалось, что он только и делает, что сидит у стены. За что он так ненавидит меня? Я тихий, спокойный мальчик. И никого не трогаю.

Никита уже, как мастер, возился с пластинками. Научил его на свою голову. Теперь задалбливал ими все отделение. Я взял ракетку, и мы начали играть с Игорем. И уже партию сыграли. Потом половину второй, когда Никита вдруг подошел ко мне и дал пощечину. Перед этим он долго стоял, сопел и над чем-то раздумывал. Я смотрел на него, ничего не понимая. А он неожиданно упал на колени передо мной, его большая голова затряслась от рыданий, и он забормotal:

— Саша, Саш, Саша, прости меня, я не виноват. Меня научили, я больше не буду, не бросай меня, прости, меня научили.

Он стоял на коленях, я только видел лысую макушку его огромной головы и по-прежнему ничего не понимал.

— Кто научил? — спросил я.

— Он, — Никита показал пальцем на Попова.

— Что? — остолбенел я.

— Прости меня, не бросай, я больше не буду.

— Встань, Никита, успокойся, ты здесь ни при чем.

Я медленно обхожу край теннисного стола и подхожу к

Попову, сидящему у стены. Концом ракетки я задираю ему лицо высоко вверх и говорю в его напрягшийся подбородок:

— Если ты еще хоть раз попробуешь использовать больные мозги для своих целей, я вышибу из тебя твои вот этой ракеткой.

На лице его дикая, патологическая ненависть, но он терпит, а я умышленно выше задираю подбородок ракеткой, придавливая его до мерзкого корябающего звука. Он срывается с места и вылетает из комнаты, лишь в дверях обернувшись на меня. А ведь он сильнее меня, что же его сдерживает? Но, что я запоминаю, — это даже не его лицо, когда он сидит в кресле, подпертый ракеткой, и даже не его, на секунду обернувшуюся, злобную маску, — а какую-то долгую и непонятную усмешку на губах моего, обычно молчаливого партнера Игоря, которая не сходила с его лица в течение всей сцены. Улыбку, почему-то тревожащую меня.

Что им нужно от меня, я устал от них и не хочу их видеть за любые богатства мира. Только не видеть их! Как же мало я хочу. Как немного я стал хотеть...

Подходит нянечка и говорит, что сестра вызывает меня на укол. Какой еще укол, холодею я. Неужели Терпсихора назначила мне уколы? Я панически боюсь их гробящих медикаментов. Негромко стучу в кабинет. Дверь открывается, впуская меня. В темноте я ничего не вижу, а только чувствую на себе Ирины руки.

— Заманила все-таки. — Даже в темноте чувствую, как она рада.

— Конечно, иначе бы ты не пришел. Саш, я так испугалась за тебя, когда узнала, он же мог убить тебя, идиот.

— Кто? — не понимаю я (и перечисляю про себя: Попов, Сулин... — сколько их на мою голову наберется).

— Сулин, этот верзила ненормальный, Тамара мне все рассказала. Говорит, что ты вел себя, как герой.

Мне смешно и забавно. А, возможно, где-то и приятно.

— Да, как дважды герой. Павлик Морозов, выдавший своего отца!

Ира снова обнимает мою шею, по-моему, она ей нравится. Затем неожиданно долго смотрит на меня и говорит:

— Не ложись сегодня спать после отбоя, я приду...

Ничего толком не поняв, я отвечаю шутя:

— Мне от страданий уж давно не спится, так что гости не запрещаются, а поощряются.

Я вернулся в палату, где вскоре появились психи после телевизора. Потом настала тишина. Наступила ночь, и пришла тьма. Лимонная монета, как всегда, тускло сияет над дверью. Мне, разумеется, не заснуть. Таблеток нет, и просить не у кого. Неожиданно моего плеча, и вправду, касается рука.

— Пойдем, — я встаю и иду следом за ней, на ходу одеваюсь.

Мы останавливаемся около ее кабинета, она в мгновение открывает дверь, и темнота поглощает нас. Я различаю только белый халат, который почему-то мгновенно падает к ее ногам. На ее голом теле только две тоненьких полоски. Та, что наверху, мне кажется прекрасней.

— Разденься, — говорит она, и я послушно раздеваюсь. Стыдливо отвернувшись от меня, она снимает с себя два последних лоскуточка. "Какой я у нее по счету?" — неожиданно колет меня. (Дурацкие мысли, как обычно!)

Мы на что-то опускаемся, и ее грудь касается моей. Я взял ее без особой радости, только кожа у нее была удивительной. Ее тело успокоилось, и уже не верилось, что за минуту до этого оно билось в экстазе. (Хотя я для этого не приложил никаких стараний. Наверно, не мы женщину возбуждаем, а она сама себя... Настолько, насколько ей хочется. Мы лишь стенка, об которую можно зажечь спичку, приспособление, предмет для зажигания.) Она уткнулась лицом мне под мышку, чуть ниже плеча. Кончик языка скользит по моим грудным мышцам. Моя ладонь машинально гладит ее тело. Какая-то мысль свербит, тревожит меня изнутри. Как-то это у нее, как будто повтор получился, а не...

— Скажи, — говорю я, — все.

— Нечего...

— Мне еще раз спросить?

— Я не была с ним. Не хотела.

Я верю. Ей незачем лгать. Но меня поражает, что она понимает меня без слов. Неужели свою вторую половину можно встретить здесь, в этом сумасшедшем месте? Нет, я не верю в это. А почему бы нет? Меня ж не удивляет, что женщина отдается здесь, в этом самом месте, не заботясь ни о чем. Да и какая там женщина, — ребенок, только что сформировавшийся в женщину.

— А почему, со мной? (Мои постоянные дурацкие вопросы.)

— Потому, что понравился. Все тебе сейчас рассказать или на потом можно оставить?

Она впиается в мои губы и долго целует их, мне кажется, целую вечность. Кажется, я начинаю растворяться, а это со мной редко бывает. Всего один раз было. С теми, другими губами, которые принадлежали Тане.

Резкий телефонный звонок прерывает нас. Я знал, что это должно случиться. Безнаказанно в нашей жизни ничего свершаться не может. Она встает голая, идет к телефону и медленно снимает трубку. (А за что мы, собственно, должны нести наказание? В чем преступление?) "Господи, — думаю я, — только пронеси ее, мне уже все равно, сколько дадут и какое наказание добавят. Пронеси ее только. Господи, если ты есть".

— Да, — говорит тихо она.

Потом:

— Спасибо, — и вешает трубку. — Дежурный врач через двадцать минут будет здесь.

— Откуда ты знаешь? — не выдыхаю я.

— Это секрет, — улыбается она в темноте.

— Ну, откуда, откуда? — дурачась, повторяю я и, наконец, выдыхаю воздух.

— Медсестра сверху звонила...

— А-а... — умолкаю я, потом говорю, — а откуда ты знала, что он начнет обход с верхних этажей? Откуда, откуда? — спрашиваю я.

Она бросается на меня: какая грудь. Господи!

— Я счастливая, — и тихо смеется.

Она одевается, а я ухожу в палату. До лампочки ей и врачи, и обходы, и кошмары, и если все узнают, — и это мне в ней нравится.

Я неслышно проскальзываю в палату. И сразу чувствую, что в ней что-то не так. Я не понимаю, что именно, работает какое-то шестое чувство, звериный нюх, один из лесных инстинктов, доставшихся нам в наследство от наших предков. И тут мне приходит в голову дурацкая мысль, а что если в эту ночь меня задушат? Совсем с ума сошел. Но ведь именно так и бывает: после радостей — неприятности.

Я смотрю на кровать. Мяч, который я оставил на всякий случай перед уходом (чтоб не хватились, если кто заглянет), так и лежит на подушке, напоминая голову, укрытую простыней. Одеяло, лежащее под простыней ниже мяча, изображает мое тело. Ничего не тронут. Опять все показалось. Тускло светит ночной лимон. Божественная тишина, даже психи не бормочут. Не желая разрушать архитектуру кровати, сажусь в дальний угол между тумбочками и смотрю в никуда. И думаю об Ире. Вот только сейчас ощущаю, сколь я счастлив и как она приятна мне. И надо меньше вертеть носом. Впрочем, первые разы всегда смазанные бывают... Это я думаю уже о другом... По крайней мере, у меня. Но что это?

Он входит осторожно, крадучись (время далеко за полночь), озирается по сторонам, бесшумно подкрадывается к моей кровати и, не глядя, сразу набрасывает на меня (то есть на подложенный мною мяч) подушку, которую принес с собой и, навалясь, начинает давить ее. Он "душит" долго, чтобы было наверняка. Потом отрывает подушку и исчезает. Ай, да Игорь, неизменный мой партнер по теннису. Такой тихий казался...

"Дважды за ночь меня душить не будут", — подумал я, и от этой мысли становится вроде бы легче, и я отправляюсь спать. Выбрасываю мяч из постели, откидываю одеяло и укрываюсь белой простыней.

Утром кто-то ласково будит меня, и чья-то рука нежно щекочет мою шею. Я, как ошпаренный, вскакиваю и раскрываю глаза.

— Ты что, Санечка, — Ира стоит улыбаясь, и солнце просвечивает ее халат насквозь. Мне это нравится, когда насквозь... Только маленькие "принадлежности", которые опять надеты, скрывают самое интересное. А что самое интересное у женщины?..

— Я тебя напугала со сна?

— Нет, — отвечаю я. — Может, ты не будешь стоять на солнце и показывать всем, какое у тебя прекрасное тело?

Она звонко смеется, падает ко мне на кровать и нахально целует меня в губы.

— Ты с ума сошла! — вырываюсь я и, забившись в угол кровати, лепечу, — большие кругом! Психи! Персонал!

— Все ты проспал, Санечка, все уже давно завтракают. Ты один в палате.

Я оглядываюсь. Она целует мою шею, лицо, и я снова вырываюсь.

— Что с тобой? — она встревожена. — Тебе неприятно?..

— Причем тут "неприятно"? Просто рефлекс, сам не понимаю.

— Какой рефлекс?

— Твой поклонник душил меня ночью...

— Как душил?! — ее глаза расширяются.

Я рассказываю все, как было:

— Бог с ним, я прощаю его. Ценю сильные чувства у людей, особенно ревность, — разглагольствую я. — Или, например, окаянную любовь.

Она продолжает ошарашенно смотреть на меня:

— Ты это серьезно? Он же мог убить тебя, — и глаза ее наполняются ужасом...

После завтрака иду в туалет и замираю. Лева снова обмотал цепь вокруг горла и затягивает узел на нем. Ноги еще подогнуть не успел. А что было бы, если бы я не любил так часто ходить в туалет? Я подхожу к нему, спокойно развязываю узел и снимаю с него цепь.

Он бормочет:

— Никто меня убить не хочет, никто убить меня не хочет, никто не...

Мне его жаль, но я ничем не могу ему помочь: я не умею убивать людей.

В коридоре вижу, как из палаты два незнакомых санитаров выводят Игоря с вещами. Он плетется меж ними к выходу, опустив голову. Я стою сзади и вижу его удаляющуюся спину. Меня, по-моему, не видит. Все это странно! Нормальные и психи, здоровые и больные. Кто, где? Разве миром правят нормальные? Миром правят психи, только иные, чем здесь. То какую-нибудь войну затеют, то чужой войне помогают. То чужих граждан лишают жизни, то своих.

Мои размышления о судьбах мира прерывает неожиданно вошедшая Терпсихора. Она внимательно смотрит в мои глаза и спрашивает:

— Как дела, все ли в порядке?

— Лучше всех, — отвечаю я, собираясь запеть в подтверждение (что все в порядке), но потом передумал петь, вдруг это на что-то похоже... и у меня не в порядке.

Она не спускает с меня взгляда, а я молчу.

— Что ж, хорошо, — говорит она. — Так и держись, скоро консилиум у тебя.

Она исчезает, а я чувствую, как внутри меня что-то сжалось. Консилиум! Они признают меня здоровым, они не могут признать меня больным, если я на самом деле здоровый, и выпустят отсюда. Ура, консилиуму! А ведь мог бы и не дожить...

За столом я не сижу, а гарцую. Я беспрестанно болтаю — без остановки и смысла. Я помешался.

После обеда встречаю Иру и тотчас вспоминаю Игоря, идущего меж санитаров.

— Это ты сделала? — спрашиваю я.

— Пускай скажет спасибо, что в 51-ое отделение не загнала.

— Ничего себе! А меня, если я тебе чем-то не понравлюсь, тоже засадить можешь?

Она молчит, а потом говорит:

— По-твоему, мне было бы приятней, если бы душил он тебя?

Самое страшное, по-моему, раствориться в среде, привыкнуть к ней, сжиться, увязнуть и не попытаться из нее выбраться. Поэтому, одни — всегда воры, другие — наркоманы, третьи — бухгалтеров, и ничто тут не может измениться. Бывших зэков не тянет из Магадана в Москву, и они остаются жить там же, вокруг лагерей, работая на тех же приисках. Они уже не могут без этой среды и не уезжают в теплые края, на Черноморское побережье Кавказа. Они даже не представляют себе, как это можно оторваться от нее. Но я вырвусь из проклятой больничной среды, я не собираюсь в ней раствориться.

После обеда отправился играть в теннис. Алкоголики, которые только что разделили мою порцию мяса, пошли со мной:

— Посмотрим, какой ты игрок: тети Шурино мясо и то умять не можешь! Все за тебя делать приходится!

Вошли в комнату отдыха. Алкоголики чинно расселись вдоль стены. Партнер нашелся, и я стал показывать "класс". В углу сидел Попов и не спускал с меня ненавидящего взгляда. Алкаши увлеклись и вертели туда-сюда головой вслед за летавшим из стороны в сторону шариком. Неожиданно шарик отскочил от стола, ударился об стенку и упал к ногам Попова.

— Брось шарик, пожалуйста, — попросил я.

Он не двигается.

— Неужели так трудно бросить?

Он хватает шарик и истерично со всего размаха швыряет мне в лицо. Он даже не орет, а вопит:

— Подавись, сука!

Затем вскакивает и убегает. Я настигаю его в коридоре. Одним ударом сбиваю с ног. Он падает, вертясь, перекручиваясь, ударяясь о стены. Потом пытается встать, и я снова бешено бью по лицу и молочу, уже не соображая. Там уже какое-то месиво, а не лицо... а я все бью!

Чьи-то сильные руки оттаскивают меня. Это — алкаши, Володя, самый здоровый, держит меня, а двое других по полу волочат Попова. Я же говорил, что перестаю соображать, когда начинаю драться (привычка провинциального детства).

— Фу-у, — тяжело дышит мне в ухо Володя, — слава Богу, Терпсихоры нет. — Он почти заталкивает меня в палату и сажает на постель.

— Ты что, срок себе прибавить хочешь?

— А чего они все? Я ж никого не трогаю. Один душит ночью, другой шарик в лицо бросает, третьего учат бить меня.

Он улыбается:

— Потому что ты — герой. — Потом добавляет. — А они — толпа. А толпа всегда была равнодушна к героям. И влюблена! — И он отправляется приводить в чувство Попова. — Завтра, к приходу Терпсихоры, — говорит он, — Попов должен сверкать, как начищенный самовар.

Неожиданно в столовой появляется Никита, о котором я совсем забыл.

— Саш, — хнычет он, — сколько приказа ждать, я же с 12 часов в палате окопался, не выхожу.

— Ой, Никита! — схватился я за голову.— Теть Шура, — говорю я быстро в окно, — дайте полный обед, пожалуйста, и побольше, а то этот дурак с утра в палате просидел.

— И чего у тебя за всех душа болит?

— Так это ж мой боец, должен я его накормить?

После ужина я даю Никите команду протереть полы, что он обычно делал каждый вечер с удовольствием. Его лысая голова потеет от напряжения. Никита — моя единственная радость, как мало человеку надо!

...Сумерки спустились за окном. Опершись о подоконник, я наблюдал за Никитиными движениями.

— А использовать труд больных нехорошо, — слышу я голос и от неожиданности вздрагиваю. Таня! — Испугался, — смеется она.

Я смотрю на нее почти с ненавистью, но она не замечает моего взгляда и, не говоря ни слова, берет за руку и ведет за собой.

— Здесь не место, — говорит она на ходу и, как только заходим в кабинет врача, обнимает меня. Я с трудом разнимаю ее руки. (Что же это такое, все, кому ни лень, заводят меня в кабинеты и делают со мной, что хотят!)

— Что с тобой, Сашенька?— удивляется она. — Ты отталкиваешь меня?

— Открой дверь и отведи меня назад.

— А вот и не отпущу никуда. Ты теперь мой пленник, что захочу, то и сделаю. — На мгновение она смолкает. — Вышла позавчера замуж, а сегодня к тебе на шею, да?

— Это твое личное дело. Меня не волнует, за кого ты выходишь замуж и когда.

— О! Вот таким ты мне нравишься еще больше. Груби мне, мой милый, груби. Значит, не безразлична, раз злишься, значит, нравлюсь. А ты мне дай только соломинкой расковырять в твоем сердце, зацепиться только, занестись, а там — так заласкаю, закручу, что жизни без меня представить не сможешь.

А вдруг это действительно так, — думаю я, — неужели я такой слабый? А в голове совсем мутно. А губы ее уже у моих губ и захватывают их. Я резко отталкиваю ее от себя. Она падает в кресло и больно ударяет локоть.

— Хорошо, — тяжело переводя дыхание, говорит она. — Я расскажу тебе, хочешь? — И, не дожидаясь ответа, продолжает. — Он — геолог, это который приехал-уехал. Так вот, выхожу за него, вышла уже, — поправилась с горечью она, — потому что надо. Двадцать девять уже. Ни чувств у меня к нему, ничего. Как не было, так и нет...

— Зачем же тогда? — не выдержал я.

— Да что ты знаешь, мальчик, о жизни. Она не так проста, как кажется тебе. На свою собственную свадьбу он прилетел всего на два дня. А видел ли ты когда-нибудь свадьбу, где жених еле сидит за столом, после 20-часового перелета ему спать хочется. И в первую брачную ночь он засыпает, едва коснувшись подушки и не коснувшись жены. И, проснувшись, улетает обратно: важные месторождения, необыкновенные раскопки. А? Видел ты невесту, жену нецелованную? Я сама

впервые вижу, когда в зеркало смотрю. Да и безразличен он мне, пожалела его, хоть раз в год приедет в свое гнездо, а так вообще никому не нужен. Да и себя я как-то не так чувствовала, соседи пальцем показывали: в девках засиживается, и мама от моих выходов устала, ей покой нужен. Вот и решила свою судьбу. Ре-ши-ла, — произнесла она по слогам в конце и словно вздрогнула. "Все-таки красивая она" — думаю я. Что-то законченное есть в ней. Ирка — та другая, совсем подросток.

— Терпсихора сказала, что у тебя скоро консилиум, — продолжает она. — Я попрошу ее, чтобы скорей. Выйдешь — будешь жить со мной, вернее, я с тобой. Хочу я тебя, ты знаешь, что это такое, когда женщина хочет? Для нее нет ни остановки, ни запрета! Если она, конечно, женщина, — и она смотрит на меня таким взглядом, что мне становится не по себе.

Что я мог сказать? Я бы бросил все и пошел за ней на край света, за этой женщиной... Но где этот край света, кто его знает? К тому же, я был с другой, которая мне доверяла. И мне не хотелось... ну, как бы это сказать... Так уж я устроен.

— Дай мне три таблетки снотворного, пожалуйста, у нас еще будет время решать, — сказал я.

Моя голова раскалывалась на части. Она послушно поднялась и принесла мне три таблетки, а уходя, коснулась губами моей щеки. Я не знаю от чего, от чьей слезы, щека моя стала мокрой. Я ведь никогда не плачу. Я уже говорил, по-моему. Уже в постели я быстро проглотил три таблетки, чтобы ни о чем не думать.

33

Меня кто-то будит, и, как чувствую, очень рано.

— Ух, — бормочу я спросонок.

— Иди, пописай!

— Чего-о?! — просыпаюсь я.

— Вот, в эту бутылочку, — нянька сует ее мне чуть ли не в лицо.

Я встаю, все еще сонный одеваюсь и беру бутылку, на которой приклеена бумажка с моим именем и фамилией. Чего им вдруг взбрело брать у меня анализ? Иду в туалет, делаю, что просили. Оставляю желтый сувенир на подоконнике и плетусь обратно. Прохожу мимо дремлющего у наблюдательной палаты санитаря, беру его руку: без двадцати семь, кладу руку обратно и снова заваливаюсь в постель.

Будит меня... тишина. До этого был какой-то шум, потом все стихло. Оказывается — начался обход. И все наши психи побежали к другим смотреть, что с ними будут делать и о чем говорит врач. Как будто они что-то понимают. Забавная картина: стоит одинокий белый халат, а вокруг него толпа пижам. Я быстро натягиваю пижаму, заправляю койку и начинаю петь: "А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. — Прислушиваюсь, шаги приближаются, — и крылья эту свадьбу вдаль несли!" Я счастлив, бодр и весел, люблю жизнь, потому что пою. Выпишите только!

Она кладет мне руку на плечо:

— Доброе утро. Слишком ты уж весел, Александр.

— Стараюсь, как могу, Терпсихора Афанасьевна. И все для ваших глаз, — не обманываю я.

— Это хорошо, — кивает она. — Жалоб никаких нет?

— Самый здоровый среди больных, — отвечаю я.

Она собирается уходить, затем останавливается и, когда свита вышла из палаты, как бы между прочим, говорит:

— У тебя, кстати, завтра консилиум.

Я прыгаю от счастья, кувыркаюсь по кровати, мечусь: консилиум, консилиум завтра! Уже не зная, куда деться от радости, несусь в туалет, а там... Никита вешается. Его большая голова уже хрипит в цепи, а ноги как подгибать, он не знает. Вынимаю его и даю такую затрещину, что он едва удерживается на ногах.

— Зачем ты это сделал, болван? — спрашиваю я его.

— Му-у, — мычит он.

— Говори, или еще раз по уху дам!

Он в испуге отодвигается:

— Леву жалко, хотел с ним из солидарности... — он жалобно смотрит на меня, — Саш, скомандуй, а?

— Чтобы больше никогда не вешался! — ору я. — Марш в палату на губу, ты оштрафован на целый день.

— Саша, — просит он, — можно на полдня?

— Что?! Командиру перечить?!

Он:

— У меня — свидание.

— Что?!

Он стоит, потупив голову и переминаясь с ноги на ногу.

— Свидание, с кем?

— С Ирой, — говорит он.

— Когда? — перестаю я смеяться.

— Сегодня в пять, сама назначила.

— А она тебе нравится? — спрашиваю я, успокоившись.

— Угу! Очень. (Оказывается, у нас одинаковый вкус!)

— А чего это нравится она тебе?

— Потому что она тебе нравится.

— Откуда ты это взял?

— А я заметил, наблюдал...

— Ты тут, Никита, в больнице, еще психологом станешь.

Где ж у вас свидание? — спрашиваю я.

— Не могу сказать, это секрет. Она просила в тайне держать.

— Вот даже как! — неподдельно удивляюсь я. — За чисто-сердечное признание наказание снимается.

— Есть, товарищ командир! — орет он и лезет целоваться

Появляется Ира и раздает таблетки. Меня тянет рассказать ей все, что будет завтра, но нет, я должен быть мужчиной. Я делаю вид, что не замечаю ее, будто увлечен разговором алкоголиками: они решают мировую проблему, как лучше варить солянку — из огурцов и помидоров с яблоками или — без яблок. Очень важно. Она кладет им их лекарства на стол и проходит дальше, моего пакетика даже нет. Иду в палату и мечтаю. Консилиум и свобода! Эти два слова вертятся меня в голове, кружатся, играют на все лады.

Кто-то тихо опускается на мою кровать — Ира! В палате пусто, все на прогулке. Она тихо утыкается в меня и всхлипывает.

— Я так скучала по тебе, — говорит она сквозь слезы. — Ты один у меня, к тому же я была дома, а ты — здесь.

Я поднимаю ее лицо.

— Скучала, спать не могла? А кто Никите тайные свидания назначает в неизвестном месте?

— Никите? Ой, не могу, — смеется она, — выболтал, предал. Хочешь пойти со мной?

Она и в самом деле пришла за мной во время тихого часа. Я лежал на кровати и мечтал про то, "как выйду, как замок мой снимут, как мою одежду снова мне вернут", — блазная песня, а какая близкая! В эту минуту и появилась Ира.

— Вставай, идем на свидание.

— Что? — не понимаю я.

— Да не со мной, а с Никитой.

Мы идем в ее кабинет. Я присаживаюсь на кушетку и смотрю на стенные часы. Ровно в пять слышится тихий стук в дверь (смотри, какой пунктуальный!).

Никита заходит и обалдело смотрит на меня. Видимо, не ожидал, помешал я его планам. Он стоит, как истукан, не двигаясь, и лишь большая голова что-то напряженно, мучительно соображает.

— Иди сюда, Никита, — говорит Ира строго. Я даже голос ее не узнал.

Он не двигается.

— Иди сюда, Никита, — говорит она еще строже и добавляет, — снимай штаны.

— Что?! — не понимаю я.

— Не-е! — орет Никита, — не хочу, не буду!

Она берет заранее приготовленный шприц:

— Вот так всегда, только с Терпсихорой и делаю уколы, иначе не дается.

— Никита, быстро! — говорит она.

— Не-е, — плачет он, — не хочу, не хочу, не могу-у! — И рвется обратно в дверь, но она захлопнута.

— Помоги мне, — просит Ира.

После сложных маневров мне удается, наконец, зажать его большую голову между колен, и она делает ему укол.

— У-у, — мычит он, — больно! — когда она уже моет шприц, — уберите иглу! — Она опускает шприц в стерилизатор. — Больно-о! — ревет он, натягивая штаны, — обманщики, у-у, все.

— Что? — говорю я. — За оскорбление командного состава марш на гауптвахту, в палату, до ужина.

— А что я, Саш? Это же она обманщица, ты хороший.

— Марш в палату! — команду я. Он поворачивается и, грустно мотнув большой головой, уходит.

— Как тебе удается, он же никого не подпускает, Терпсихору, и ту с трудом?

— Случайно, — говорю я, — он хороший, Никита.

— Но больной.

— Лучше бы все были т а к и м и больными, чем те здоровые, которые окружают нас там, — я киваю головой за окно, в другой мир, законный мир... — Ира, — говорю я, вдруг вспомнив, — для чего анализы?

— Какие?

— У меня сегодня утром бутылочку взяли.

— Чтобы выяснить, пил ты те таблетки или нет.

— Какие т е? Я никакие не пил!

— Которые тебе давали...

— Почему же ты мне сразу не сказала, что эти таблетки показывают в моче?!

— Откуда же я знала, что ты их не пьешь?..

— Неужели ты думаешь, что я такой идиот, чтобы пить ваши кретинские таблетки и стать окончательным психом, как все тут! — Я вскакиваю с кушетки, включаю лампу на столе. — Ну, все! Все пропало! Она узнает, прибавит месяцы, никаких консилиумов и свободы, будь проклято все, так глупо попасться! — Я мечусь по кабинету.

— Не кричи.

— А что прикажешь делать, с ума здесь сходить! Я же мог сдать анализ любого, они все, шизоиды, глотают таблетки, какие им дают.

— Успокойся, ну, не нервничай так, что-нибудь придумаем. — Меня трогает это "ем". Что я могу, "больной", здесь сделать?

— Петлю можно только придумать теперь. Почему, ну, почему ты мне не сказала?

— Я не знала же, клянусь тебе, — говорит она. — Хочешь, я скажу Терпсихоре, что я сама не давала тебе таблетки, это моя вина?.. — Я непонимающе оглядываю ее. — Ну, что я знала, что ты здоров и не хотела тебя пичкать ими зря.

Она совсем расстроилась, зато я, как ни странно, успокоился: мне в моей проклятой жизни никогда не везет, так будет еще раз.

— Сколько времени делают анализ? — спрашиваю я бодро.

— От суток до полутора, — грустно отвечает она. — Обычно на завтра, к обеду, бывает готово.

— А консилиум у меня с утра, после завтрака. Попробую проскочить. — Но где-то в душе я понимаю, что не выкрутиться и глупо даже мечтать об этом.

А вечером мы сидим в ее кабинете. На улице сумерки, а здесь светло и уютно — прямо дом родной! Ее голова прислонилась к моему плечу. Она расстегивает мою куртку до конца...

— Нет, не могу, — я поднимаю ее голову.

— Почему?

Я не отвечаю.

— Не нравлюсь больше?

Глупый вопрос!

— Саша?

— Боюсь, а чего, — не пойму сам. Внутри как-то тревожно, и от этого не по себе. Вдруг зайдет кто-нибудь.

— Да что ты? Кому сюда приходиться? Пустяки. А до обхода дежурного врача еще два часа. — Ее грудь упирается в мою. — Саша?..

— Не могу, не могу, честное слово, — отстраняюсь я.

— Хорошо, — соглашается она, а я иду в палату, ложусь и долго ворочаюсь с боку на бок. Надо уснуть, завтра жизненно важный день, никто мне не поможет. Только я сам себе. Нужно уснуть. Я должен быть свежим, бодрым, а не с мешками под глазами. Но нет, нет никакой возможности уснуть. Входит Ира, она кладет свою руку на мой лоб, гладит меня.

— Почему ты не спишь, Санечка?
 — Не знаю, — говорю я.
 — Тебе надо заснуть, постарайся.
 — Не могу.
 — Что же делать? — спрашивает она, — хочешь, я посижу рядом, убаюкаю тебя?
 Я не выдерживаю:
 — Дай таблетки, — говорю я.
 Она приносит мне снотворное. Я быстро глотаю таблетки и с облегчением откидываюсь назад.

34

После завтрака Терпсихора забирает меня, и мы идем с ней по длинным больничным аллеям. Вокруг теплынь, листья, августовское солнце. Внутри я напряжен, как струна. Она начинает первая:

— Ну и деятельность ты развил, Саша!
 — Какую? — спрашиваю я.

— Весь медицинский персонал твердит со всех сторон, что ты здоровый, что ты хороший и надо тебя скорее выписывать. Особенно отдельные члены персонала... Это хорошо, и что ты взбодрился и со стороны производишь такое впечатление... Это ускорило мое решение — тебе здесь делать нечего.

Мне здесь делать нечего!

— Но на будущее, — говорит она, — возможно, ты и неплохой актер, но не надо переигрывать.

— С чем? — спрашиваю я.

— С песнями, — отвечает она. Мы поняли друг друга без слов.

— А?.. — доигрываю все-таки я.

— Я ведь тоже люблю театр, — говорит она, — да и жизнь у меня, как театр.

Мы подходим к красивому готическому особняку в глубине двора. Здесь, видимо, у них размещаются главный и

подглавные врачи. Старинный особняк явно не для кабинетов или врачебных целей. Она ведет меня в глубь полумрачного свода, придерживает тяжелую дверь, пропуская меня вперед. Мы идем по длинному и очень старинному коридору, отделанному под темный орех. Сумрачно. Мало света. И страх все сильнее подбирается ко мне. Она останавливается перед дверью, останавливает меня и исчезает. Сердце так колотится, что, кажется, сейчас выскочит через горло. Томительно тянутся минуты, мне они кажутся часами. Наконец, она появляется из-за дверей и вводит меня вглубь. Я оказался в главном зале, сделанном в стиле раннего XIX века. Несильный свет проникал в зал через ажурное окно в мозаике и был мягок и ненавязчив.

Они сидели за длинным полированным столом, накрытым тяжелым красным сукном. Было их трое — это и был консилиум. В центре зала стоял одинокий стул, на который она усадила меня, и сама села тоже на стул, возле их стола.

Я не знал, надо ли здороваться первым или ждать, пока они кивнут, чтобы, не дай Бог, они не приняли эту мою навязчивую вежливость за симптом. Они не обращали на меня никакого внимания и в первые минуты просто листали мою историю болезни. Я уже сказал: их было трое, решающих мою судьбу. Крупная, яркая, самоуверенная женщина, которая потом представилась — доцент Романова. И двое мужчин по бокам — один молоденький, лет тридцати, с бородкой, нервно дергающий ее все время вверх, другой — староватый, дряблый, вообще, по-моему, ничего не соображал и сидел для декорации. Эти вообще не представились. Разговор вела доцент Романова.

— Здравствуйте, Александр, — сказала и посмотрела на меня.

— Доброе утро, — ответил я как можно спокойнее, четче, уравновешенней, непринужденней, бодрее, нормальнее, обычной, повседневней, однотипнее, неоригинальней. Боясь прибавить лишний вздох.

— Какой сегодня день? — спросила она.

— Пятница, — нормально, спокойно, вежливо ответил я, не выказывая недоумения.

— А какое сегодня число? — продолжила она.

— Э... э.., — какой идиотизм, но я не могу вспомнить числа! Они все попеременялись для меня, стали похожи одно на другое. Но не им же это объяснять.

Она ожидающе смотрит на меня.

Кретин, так глупо все терять, так глупо гореть и пропадать! Предупреждали же меня, говорили мне, в книжках читал, что вопросы просты и ненормальны в своей простоте и этой своей простотой сбивают. И чаще всего — о числах, днях, временах. Да что же это со мной! Я мучаюсь, напрягаюсь, пытаюсь изо всех сил вспомнить, к а к о е сегодня число. Терзаю одну ладонь в другой. Но ничего не получается.

Она смеется и говорит:

— Так вы собираетесь начать свою книгу?

— Какую книгу? — недоумеваю я.

— Это вам лучше знать.

— Я ничего не знаю, честное слово.

— Вот, здесь написано, — она переворачивает страницу истории болезни, — что вы легли в больницу, чтобы посмотреть на людей, как они здесь живут, чем занимаются.

— О, — улыбаюсь, — это я просто так говорил, чтобы как-то объяснить, почему я попал сюда. А писать я ничего не собирался.

Разговор приобретает какой-то странный оборот, не имеющий ничего общего с моим здоровьем. О моем здоровье речь вообще не идет.

— Вот это правильно, — говорит она.

Я вижу, — она гораздо умней и образованней, чем выглядит внешне.

— Писать вам совершенно ни о чем не надо. Вы ведь все равно ничего не знаете и ничего не поймете без изучения глубин психиатрии. А напишете что-нибудь поверхностное. Хотя априори я согласна, что вы умный, начитанный мальчик... юноша, — поправляется она. — Но психиатрия — это медицина, и оставим ее врачам.

— Я, собственно, и не собирался писать о глубинах, а лишь о тех, кто меня окружает, что они делают, как себя ведут. Короче, о том, что видел, что слышал, кого встречал.

— Вот видите, — неодобрительно качает она головой и резко проводит языком по ярко окрашенным губам (интересно, это у нее отрепетированный жест?), — значит, все-таки собирались писать?

— Нет, что вы? Раз вы говорите, что не надо, мне этого и в голову не придет. Да и какой там из меня писатель, я и рассказа крошечного за всю жизнь не написал.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо, — повторяет она. — Ни о чем не надо писать, н и - о - ч е м. А то нам будет грустно с вами расставаться, и мы оставим вас у себя.

Я чувствую, как озноб страха передергивает мне плечи.

— Да, да, конечно, я клянусь вам: ни одной строки! Мне и в голову не придет ничего такого.

— Тут вот, тоже, съемочная группа приезжала, наша тема их интересовала, по верхушкам только и снимали, всякие эффектные для них случаи и происшествия. Пришлось позвонить, прекратить их работу и уничтожить фильм. Человеку со стороны не понять, что здесь происходит, и он видит совсем другое.

(Это точно, думаю я, секрет фирмы надо тоже сохранить.)

Она заканчивает, подводя итог:

— Ну, а в остальном, я надеюсь, он будет хороший мальчик... юноша, — поправляется она. Она хочет подчеркнуть, что я мальчик, но воспринимает она меня, по-моему, как... юношу. — И я думаю, что его можно выписать, правильно, Терпсихора Афанасьевна?

— Да, Людмила Романовна, все правильно. В отделении им мой персонал не нарадуется.

— Вот и прекрасно, — подводит она черту разговора.

Странный консилиум. Я ожидал другого.

— Желаю вам всего хорошего, — говорит доцент Романова, — не попадайте больше к нам и не забудьте наш разговор, чтобы я не пожалела, что выписала вас, — и она шутя грозит мне пальцем.

— Спасибо, большое спасибо, — говорю я. — Я очень вам благодарен, что отнеслись ко мне так... ну, не как к потенциальному больному, которому не верят, когда он говорит, что

здо..., то есть, не болен, а отнеслись без недоверия, без подозрительности. Я не ожидал, честно. Еще раз неизмеримое спасибо!

Ей явно приятны мои слова. Она самодовольно улыбается, показывая хищный оскал губ выдавшей виды женщины. Мне кажется, она не против со мной даже что-нибудь закрутить, хотя, какое это сейчас имеет значение.

— Подожди меня на улице, — говорит Терпсихора, — там скамейка есть.

Я стою и не двигаюсь. По-моему, я еще не понял до конца, что произошло.

— Ну, иди, иди, — говорит она.

— Как, не понимаю я, — один?!

Все снисходительно улыбаются.

— Ты уже, считай, выписан после слов Людмилы Романовны. Так что бежать тебе некуда, и мы тебя не держим.

Я иду один по коридору, не знаю, где выход, и мне вежливо подсказывают. Никого не удивляет, что я в пижаме и один. Я иду к выходу, о, какое это божественное чувство: впервые без надзора, без больных вокруг, и без этого гадкого отделения висельников, и без лимонно-тусклого ночника. Чувство странного и необычайного упоения бродит во мне: я все-таки победил! Моя победа! Я выхожу во двор и сажусь на скамейку.

Сажусь на скамейке. И только сейчас начинаю сознавать: Один! Вы понимаете, что это такое, когда никто не стережет, не запирает тебя и кругом неограниченное пространство. О, мое пространство! Игра выиграна, все позади. Господи, завтра будет свобода. Не будет санитаров-наркоманов, ни инсулиновых шоков, ни Лины Дмитриевны, ни ночных бредов...

— Саша, пойдем, — прерывает мои размышления Терпсихора Афанасьевна. — Все в порядке, — говорит она, — поздравляю тебя.

Я тут же хочу невозможного.

— Терпсихора Афанасьевна, а что, выпишут меня только в понедельник? Завтра суббота, потом воскресенье...

Она смотрит на мою физиономию и улыбается:

— А ты хочешь сразу покинуть нас?

— Как вам сказать... честно, да! Конечно, хочу. Истосковался я взаперти.

— Ладно уж, выпишу тебя завтра. Личная просьба Людмилы Романовны.

Мы подходим к отделению, заходим в наш коридор. По-прежнему такой же, а для меня он уже светится, сверкает солнечным огнем, яркими брызгами. Это самый лучший коридор мира. Ира, словно бы невзначай, сидит в кресле у кабинета и видит мое сияющее лицо.

— А ты, что здесь делаешь, голубушка? — спрашивает ее Терпсихора.

— Я хотела спросить... — и они уходят в кабинет к ней, отпуская меня в отделение.

Я не знаю, скакать мне или плясать. Несусь на кухню и сообщаю тете Шуре, она рада за меня, гладит морщинистой рукой мою голову и не говорит ничего. Затем я сообщаю сбежавшимся алкоголикам, что завтра выписываюсь, они подхватывают и начинают бросать меня в воздух. Появляется Ира и после очередного приземления отводит меня в сторону и говорит:

— Она просила тебя не говорить никому, чтобы не тревожить больных. — Потом спрашивает: — Кто будет тебя забирать?

— Кто? Не знаю, одного меня не выпустят, только под расписку, в чьи-то руки. Вот это да. И забрать некому. — Но тут же вспоминаю: Анна Ивановна! Конечно, я и забыл, знаешь, как она будет рада.

— Вечером позвоним ей, — говорит Ира.

— Спасибо. Обо всем подумала за меня.

— Спасибо мало на сей раз, — она улыбается. — Загони мне Никиту, пожалуйста.

Я иду в его палату. Как ни странно, он сидит на койке.

— Наказание окончено, да, Саш? Скомандуешь, а? — Я и забыл о его наказании.

— Марш за мной, — говорю я и нежно глажу его голову. Он доверчиво идет за мной. Мы подходим к процедурной, и я

коварно запикиваю его в кабинет: разбирайтесь сами. И тут а же слышу ее суровый голос и визг Никиты. Потерял бойца, не простит он мне предательства.

За обедом алкоголики в честь последнего дня моего пребывания делают грандиозную солянку. Солянка такая вкусная, неопиcуемая, красивая, пахнущая, что Ира, разнося лекарства, не выдерживает, наклоняется и пробует прямо с моей вилки.

— Одурела, — шепчу я, — больные вокруг. — Она счастливо ульбаётся и уносится дальше.

Тетя Шура наваливает мяса так, что даже алкоголикам кажется много. Я ем, не торопясь, и какая-то мысль гложет меня, ковыряется внутри, не дает покоя. Я кручу мозги и так и сяк, но мысль не выдавливается. Обед кончается, мы все помогаем тете Шуре убирать со столов, и я говорю ей, кивая на алкашей:

— Оставляю вам заместителей, — хотя им тоже через неделю выписываться, алкоголики долго не лежат. Тетя Шура кивает, грустно смотрит на меня. И вот этот грустный взгляд наталкивает: анализы! Должен прийти анализ, еще не пришел, раз она не вызвала меня. Я иду в палату, ложусь, и тысячи мыслей пронзают меня. Попался! Вот-вот все станет ясным. Я быстро встаю, надеваю пижаму и иду к Терпсихоре. Стучу в ее кабинет, она открывает мне...

— Что случилось, почему ты не спишь, Саша?

— Терпсихора Афанасьевна, я... не пил таблетки.

— Что ты с ними делал?

— Носил в кармане, потом выбрасывал в туалет. — Я рассказываю про Веньку, что я здоровый, что я не хочу, чтобы у меня вывалился язык и ползли гады по ногам, что я...

Она смотрит на меня, мне кажется, это тянется вечность. Потом говорит:

— Я догадывалась, — тон, которым это сказано, не предвещает ничего хорошего. — Мне звонили из лаборатории, у них много работы, кончается неделя, и твой анализ будет готов только в понедельник. — Она делает паузу. — Я обещала выписать тебя завтра. Так что... ты мне ничего не говорил, я от тебя ничего не слышала.

— Терпсихора Афанасьевна!.. — уже не могу сдержать я себя. — Терпсихора Афанасьевна!

35

Вечером сидим в курилке с алкашами и треплемся. Психи — на прогулке, Ира увела их, обидевшись на меня, нашел на кого время тратить, на алкоголиков.

Моя пачка сигарет кончается, и я иду в палату за другой. На подушке моей кровати что-то белеет... — конверт! Чудеса, оказывается, здесь еще и почта работает. Вскрываю. "Думала поговорить с тобой вечером, но неожиданно позвонила мама и попросила приехать. Очень плохо чувствует себя. Все твои координаты и той женщины, которая забирает тебя, списала. Мой телефон дом.467-10-43, раб. 231-15-16. Буду ждать твоего звонка. Все время — все дни, все утра, все вечера. Я так хочу тебя... Поздравляю с выпиской, целую твои синие глаза, Таня".

Я задумался, она хочет меня. А что хочу я? Я ведь ничего не знаю в этом мире и особенно себя.

Позже приходит Ира и идем звонить. Она открывает дверь, входим в кабинет Терпсихоры. Ира уходит, а я сажусь за докторский стол, снимаю трубку.

— Анна Ивановна? Здравствуйте!

— Санечка, что случилось? — слышу я в трубке. — Завтра я буду у тебя. Ничего не произошло?

— Все нормально. Вы можете прийти на час раньше? — спрашиваю я.

— А что, удлинители свидания?

— Нет. Выписывают меня.

— Да что ты, малыш! От всей души поздравляю! Видишь, вот и дождался, а говорил, что не выдержишь, не хватит тебя. Ты, конечно, поживешь у нас, Санечка? Мы по тебе все скучаем, даже собаки, вон, хвостом виляют, догадываются... А потом уже решишь, когда поедешь в свой город, к родителям, а когда отдыхать? Я думаю, после этого заведения тебе надо отдохнуть и немало деньков.

— С удовольствием, — соглашаюсь я. Собственно, мне и спешить некуда.

— Санечка, во сколько мне приехать?

— Чем раньше, тем лучше, Анна Ивановна. Тут лишний час, как вечность для меня, нескончаемая.

— Ну, потерпи, малыш, осталась всего чепуха: одна ночь, ты столько продержался. А завтра, с восходом солнца или даже раньше, я буду у тебя.

Я еще раз благодарю ее и машинально оглядываю стол. На столе разные предметы. Голубая папка какая-то. Кабинет обычный. Часы стучат: бом-бом. Иры все нет. Наверно, забыла про меня. Встаю, расхаживаю, снова сажусь. От нечего делать раскрываю папку, под ней — белый титульный лист: история болезни №., больной Александр... Да это же моя фамилия! Нет, некрасиво копаться на чужом столе. А чего некрасиво-го? Это же мои документы. Я ведь не лезу в чужие. Наверно, за всю историю существования психиатрических заведений ни одному больному не представлялась такая возможность. Я даже не думаю, почему эта папка лежит отдельно. Как будто специально. Быстро переворачиваю титульный лист. Первым лежит машинописный лист, подписанный Линой Дмитриевной. Диагноз: "Вялотекущая шизофрения с апатией, навязчивые мысли о какой-то любимой и книге; нуждается в длительном лечении, во второй половине которого необходимы инсулиновые шоки".

О-ля-ля! Мог же я залететь с этой убийцей Линой на всю свою оставшуюся жизнь. Молодец, Терпсихора!

Я захопываю папку. Интересно, очень интересно. Вот и узнал себя... Это страшно занимательно — наблюдать самого себя.

Открывается дверь, я уже на ногах.

— Тихе, — шепчет она, — погаси свет, уже отбой.

Тьма кругом кромешная. Она берет меня за руку и ведет за собой. Мы заходим в ее кабинет, в темноте белеет лишь пятно ее халата. Наклоняется и шепчет: "Сегодня вся ночь наша. Вся..."

...Светает. Она лежит тихая, безмолвная, усталая. Она полно-

стью удовлетворена. Я завидую ей, мне, наверно, уже никогда не испытать этого чувства полноты. Потом едим Лесины апельсины, которые она принесла из холодильника. Таких в продаже не бывает. У Леси везде блат. Мы лежим на белой психиатрической простыне и едим нормальные желтые апельсины.

Завтра у нее еще полдня дежурства, хочет выписать меня сама. Мне ее жалко, усталую, невыспавшуюся... В воскресенье она ждет меня, мы встречаемся (она хочет так: "мы встречаемся") на Кропоткинской. Свобода, равенство, братство!

Не успел сомкнуть глаз, как кто-то расталкивает меня и сует мне в нос вещи. Это санитарка-нянечка принесла баульчик с моими вещами.

Трепетной рукой разворачиваю. Сажусь на кровати и стягиваю с себя эти мерзкие длинные семейные трусы, с казенным черным штампом, которые носил последнюю неделю. Надеваю свои плапочки и не верю, что возможно такое удобство — благодать! Сегодня я выписываюсь! Прыгаю с кровати на пол, опять на кровать, снова на пол. "Ура! — негромко кричу я, — прорвались". Надеваю брюки, по одной штанине, не спеша, смакуя. Сукно облегает ногу, о, блаженство, — не рваная пижама, а целое сукно. Застегиваю молнию, забыл, что такая существует. Легкая рубашка облегает тело, делаю его воздушным. Верчусь, как юла, начинаю причесываться, пойти показаться Ире, потом вспоминаю, что Терпсихора просила не маячить на глазах у больных. Вот жизнь, и показаться никому! Собираю свою тумбочку, вынимаю солнечные очки и кладу их сверху в баульчик.

Заходят алкоголики, я прощаюсь с ними сейчас, потом времени не будет. (Чтобы не получилось, как тогда, когда я выходил из той больницы.)

Каждые несколько минут я выхожу из палаты, уговаривая себя не делать этого, подхожу к двери и долго смотрю в щелку. И, никого не видя, возвращаюсь. Мгновение, и все повторяется снова. Я начинаю нервничать. Мне кажется, что за мной не придут никогда, оставят меня здесь, все поменялось, и мне

просто ничего не сказали. И тут вспоминаю о Никите, иду к нему. Никита сидит на кровати и плачет.

— Никита, ты что, кто тебя обидел?

— Ты уезжаешь, — ревет он.

Мне его дико жалко.

— Я буду приходить к тебе каждую субботу и приносить много вкусных вещей. Не плачь. Ну, успокойся, Никита.

— Не уходи, — умоляет он.

Надо ж, а! Хоть, вправду, не уходи.

— Никита, ну хочешь, я скамандую, а?

— Хочу, — сквозь слезы бубнит он.

— Только успокойся, — прошу я.

— Хорошо-о...

— Вот очки. Тебе боевое задание: когда я уйду, но только, когда уйду, подойдешь и скажешь Ире, что это от меня. Договорились?

Неожиданно влетает в палату она сама:

— Вот ты где, за тобой пришли!

Никита догадывается и успевает спрятать очки за спину.

— Правда?! — я уже не помню ничего и несусь.

— Подожди, — дверь закрыта. Саша, что с тобой, успокойся, разве так можно?

Как будто я соображаю, что можно и что нельзя. Мне кажется, что меня не выпустят, задержат, передумают, оставят.

Она берет меня за руку, открывает дверь и выводит из отделения.

Анна Ивановна обнимает меня и прижимает мою голову к себе. У меня першит в горле так сильно, что я едва сдерживаюсь.

— Баул, мой баул, — бормочу я.

— Сейчас принесу, — говорит Ира и быстро уходит.

— Ну вот и все, малыш, все окончилось для тебя, успокойся. Ты плохо себя чувствуешь, почему ты дрожишь?

— Я боюсь, Анна Ивановна, боюсь.

— Да что ты, мы уже идем, сию минуту, домой, успокойся. Вот и вещи твои, спасибо, — кивает она Ире.

Та кладет перед Анной Ивановной лист на тот самый стол, которым Сулин пытался меня убить:

— Здесь нужно расписаться, что нашу драгоценность вы получили из рук в руки.

Анна Ивановна расписывается. Свобода!

Я не иду ни с кем прощаться. Боюсь возвращаться в отделение, у меня страх. С Ирой мы не целуемся, только протягиваем руки — прощальное рукопожатие.

— Ты не забудешь? — спрашивает она.

— Да, — отвечаю я, и не понятно, что я этим хочу сказать, забуду или нет.

Через входную дверь мы выходим на крыльцо, на ступеньки. Я стою и жмурюсь от солнца. Понимаете, я стою на крыльце, на свободе и щурю глаза от солнца. Нет, вы не понимаете.

Мы спускаемся вниз и идем с Анной Ивановной по дорожке. Ира еще стоит на ступеньках. Иду с пустыми руками, Анна Ивановна не дает мне тяжесть. Я оглядываюсь: она все стоит на пороге и машет рукой, но не часто, а так, вроде бы для себя.

Мы удаляемся по дорожке все дальше и дальше. А она все стоит на крыльце, делая знаки рукой и не уходя. Я тяну уже Анну Ивановну за руку, подгоняя ее, верчу головой по сторонам: боюсь, сейчас догонят, сейчас вернут. Она понимает меня и прибавляет шаг.

— Сейчас придем домой, Санечка, отдохнешь, отмоешься, выпьешь холодного. А какой я обед тебе приготовила! Угадай?

Я верчу головой по сторонам, озираюсь.

— Какой? — я не могу думать сейчас. Что со мной?!

— Грибы, жаренные в сметане, а мясо отдельно зажарила и твое любимое пюре из хлопьев сделала. Помнишь?

— Да, спасибо, спасибо...

Я боюсь еще больше. До больничных ворот минут пять, но ведь перевозка, больничная перевозка может еще догнать...

— А на сладкое я сделала твой любимый салат из фруктов в мороженом.

— Спасибо, большое спасибо, — бормочу я и тащу ее за руку. Вот уже показались больничные ворота, ближе, ближе,

мы почти бежим. Я озираюсь во все стороны. "Вахтер!" — бьет меня током, он может задержать, пропуска нет. Никто даже не глядит на нас, пропусков не надо. С повернутой назад головой я прохожу ворота: Господи, неужели это кончилось и никогда, никогда не повторится!

Я сбавляю шаг.

— Ну, все, Санечка, мы уже на свободе. Успокойся, не беги так, я все-таки не молодая, не могу поспеть за тобой.

— Хорошо, — соглашаюсь я.

Мы спускаемся совсем вниз, выходим на улицу, растворяясь в гуще, в толпе... в летней зелени и звуках. Сели в автобус и покатали домой.

Он повесился тихо, вечером, в доме.

Веревка была старая и, думалось, что она, веревка, не выдержит качающегося тела этого странного мальчика.

Но она выдержала...

Повесть публикуется в сокращенном варианте.



Аркадий ЛЬВОВ

ОТЕЛЬ "АМБАССАДОР"

Мучительны были последние дни в Риме. Все надоело: и церкви — каждая музей, и закоулки — каждый средневековье, и руины — все из античности. Даже Колизей, построенный на костях еврейских каменщиков, настоянный на крови наших прашуров, гладиаторов из Иудеи, надоел.

Свинцовые, тяжелые, как свинцовое литье гробов из средневековых склепов, мысли давили на сердце, теснили дыхание — влекло на Кампо ди Веррано, кладбище посреди Рима, город в городе, со своими в двадцать-тридцать этажей домами, где каждый занимал ровно столько пространства, сколько было необходимо, чтобы вместить его урну с прахом, написать имя, под которым он прошел свою земную жизнь.

С Кампо ди Веррано вела прямая дорога в ХИАС — по прелестной улице Реджина Маргерита, на которой весело, разухабисто, как в доброе старое время, бренчал последний римский трамвай.

В ХИАСе прелестная, с лицом боттичеллевы Весны, Роз, американская итальянка, встречала эмигрантов с неизменной

улыбкой, чуть-чуть печальной, с оттенком сочувствия, и в двадцатый раз повторяла: Нью-Йорк вас не принимает, пока, но, в конце концов, примет.

Божественная Роз, она как в воду глядела: Нью-Йорк принял нас. Кроме нас, он принял в этот день еще сто двадцать человек — сто двадцать из ста пятидесяти, которые взлетели вместе с нами в аэропорту Леонардо да Винчи и приземлились в аэропорту Кеннеди.

Мы провели в самолете тринадцать часов: четыре на земле, в ожидании вылета, и девять в воздухе. Нас кормили, нам показывали кино, мы слонялись из салона в салон, часами стояли в очереди к клозету и с радостью отдавали свои последние лиры за двухсотграммовые флаконы кьянти, которые здесь шли по той же цене, что двухлитровая бутылка в Риме.

В Нью-Йорке нас встретили представители ХИАСа, сказали "добро пожаловать!" — на идиш, по-английски и по-русски — и повели веселым строем, как колонну арестантов, на выход, по бесконечным коридорам и переходам к автобусам.

Был второй час ночи. В тумане тускло желтели нью-йоркские фонари, красные и зеленые огни светофоров дергали наш автобус нещадно, как марионетку. По сторонам, за туманом, казалось, нет никакого города, никакой жизни, просто физическое пространство, с тремя его осями — X, Y, Z, — сеченное вдоль и поперек дорогами и мостами, под которыми были другие дороги и другие мосты, со своими X, Y, Z и своим счетом времени, которое даже в точках пересечения не совпадало с нашим. На мгновение забирало чувство тревоги: Куда мы приехали? Куда едем? Зачем? Сопровождающий хриплым ночным голосом выкрикивал: "Квинс, Бруклин, Бруклин, выходите, опять Квинс, Манхеттен, Манхеттен, выходите!"

Люди выходили, через минуту исчезали в тумане, с чемоданами, с детьми, тюфяками, сопровождающий выходил с ними, четверть часа спустя возвращался, лихо потирал руки, хлопал ладонью о ладонь и весело объявлял: "Так, этих устроили. Поехали дальше!"

Среди ночи вспоминалось детство, вспоминались сказки,

все о дорогах, все о привидениях, оборотнях, вампирах — лесная чаща, избушка, с виду избушка, а на самом деле притон, мясо, кости, кровь — чушь, стыдно признаться, но все стояло перед глазами... Наконец сопровождающий воскликнул: "Стоп, приехали! Отель "Амбассадор!" — нечисть сгнула вмиг, как в вакуум-трубу всосало, закрученный спиралью туман устремился за ней, воздух — вроде никакого тумана и не было — сделался прозрачным, раскрылась стеклянная дверь — налево АМБАС, направо САДОР, — вышел администратор, сжал обе руки перед собою, ниже пояса, и тепло, как хозяев после долгой разлуки, приветствовал: "Доброе утро, господа! С приездом!"

Сгрузив чемоданы на тротуар, мы, по одному, по два, бегом, перетаскивали их в холл — сопровождающий, молитвенно сложив руки, через каждые пять секунд вопрошал: "Вы евреи или не евреи? Где горячая кровь? — живет, живет!" Наконец, дело было сделано, сопровождающий, наклоняясь к администратору — тот сидел теперь за конторкой — сказал несколько слов (звуки были странные, не из английского, не из идиш), подмигнул в нашу сторону, тот подмигнул в ответ, оба ухмыльнулись, сопровождающий тут же, оттолкнувшись локтем от конторки, выпрямился, улыбнулся, улыбка была усталая, ночная, сделал нам общее до свиданья, сказал: "Просим не умирать с голоду, в номере приготовлено покушать что-нибудь вкусненькое!", подозвал негра-коридорного, вынул из кошелька кредитку, сунул ему в руку, похлопал по плечу, предупредил нас чаевых не давать, негр свое получил, еще раз улыбнулся, повторил общее до свиданья и вышел.

Негр вызвал лифт, встал у двери, придерживая ее ногой, показывал пальцем, куда ставить чемоданы. Вдруг, хотя лифт был загружен едва наполовину, сделал рукой стоп, велел двоим зайти, пусть поднимутся с ним, женщины закричали: "А дети? Дети в первую очередь!" — негр нажал кнопку, одиннадцатый этаж, дверь тут же затворилась, лифт вздрогнул раз, еще раз, судорожно, как лошадь на крутом подъеме, но с места не сдвинулся. Пришлось открыть дверь, негр ткнул ногой в три чемодана — вынести! — подумал немного, ткнул

в четвертый, этот тоже вынести, опять нажал кнопку, в нынешний раз все получилось, как положено: дверь закрылась, лифт дрогнул и тут же пополз вверх.

Переезд закончили в четыре. Можно было и раньше, но всякий раз приходилось заново управляться с лифтом, который то не дотягивал до своего этажа, то проскакивал мимо. Было в этих его фортелях нечто странное, негр смеялся, весело клал язык и объяснял, что в шахте поселился злой дух, который не любит русских эмигрантов: нет эмигрантов — лифт работает, как часы.

Номер был двухкомнатный, на четыре человека, с ванной. Черт возьми, можно жить, Америка есть Америка — не Австрия, не Италия: у Беттины, в Вене, нас втроем втиснули в комнатенку на четвертом этаже, кухня — одна газовая плита на весь кагал, сотню человек; на первом этаже в пять утра надо было занимать очередь, чтобы успеть к семи, в общем, тоже не Бог весть какие проблемы, но, как всегда, находились кретины, носились с этажа на этаж с настырными охами, ахами, как будто кто-то им должен, а Беттина, вкуче со своим гитцелем Давидкой (экс-ленинградцем, из тех, что взяли прицел на Западную Германию и Австрию), сложив руки на груди, спокойно — то спокойствие! — интересовались: "А в Аушвице гнили! А Маутхаузен — это здесь недалеко — нюхали! А Россию, как жили с ног до головы в говне, забыли!"

Сопровождающий сказал правду, в номере было что покушать: плавленые сырки, по шесть штук, секторами, в круглых коробочках, крекеры, в прозрачных целлофановых обертках, порциями к чаю, мармеладки в индивидуальной упаковке, соки, томатный и апельсиновый, в жестяных баночках, по четыре унции, и пакетики липтон-чая. Странно, мы не были голодны, но набросились на эту снедь, как будто забыли уже, когда последний раз была крошка во рту. Впрочем, это был все же голод, не банальный физический голод, который утоляется куском хлеба, а голод души, тот, что сродни извечному страху человека перед новой обстановкой, новыми людьми и новым завтра, которое начинается с первой вечерней звездой, когда впереди еще вся ночь, томительная, как вечность.

Утро следующего дня выдалось солнечное с первым осенним морозцем. Тяжелый, почти театральный занавес раздвигался на две стороны, за широким, метра в четыре, решетчатым окном серебрился чешуйчатый купол Крайслера; мы приняли его поначалу за великий Эмлайр Стейт, а затем, когда увидели этот последний, с его в четырнадцать этажей шпилем над ста двумя этажами камня и стекла, подивились собственному невежеству, простительному, впрочем, для людей, которым еще два-три месяца назад тридцатиэтажный новоарбатский короб представлялся чуть ли не крышей мира.

За окном завывала сирена, по первому впечатлению, скорой помощи. Вой был настырный, хоть и без леденящего душу, будто несется на последней скорости сама обреченность, уханья римского амбуланса. Затем подключились к ней новые сирены, одна, две, три, с противоположных по звуку сторон, и сходились они где-то совсем близко, возможно, даже рядом с нами. Теперь слышен был уже и тяжелый, сотрясающий мостовую гул, тут уже не могло быть сомнения — мчали пожарные машины, и в самом деле, зашел к нам вчерашний негр, принес электроплитку, поставил на холодильник, проверил, достает ли шнур до розетки, и подтвердил: пожар здесь, по соседству, на Сорок девятой и Восьмой авеню, горят пуэрториканцы, хотя, в общем, какой там пожар, — выбросили с третьего этажа какое-то обугленное дерьмо: шкафы, диваны, тряпье, сами, наверно, и устроили, страховку хотят получить.

Минут через десять, однако, опять послышался вой — на этот раз действительно были машины скорой помощи, — жена сказала: "Неплохое начало, приехали в Америку прямо на пожар". Мне были неприятны эти слова, я сказал: "Почему на пожар, не только на пожар, на похороны тоже, для того и кареты, чтобы подобрать трупы". Она не ответила, прижала к себе сына, глаза у него были не по-детски серьезные, с оттенком безотчетного страха, передавшегося ему от матери, я с удивлением подумал, что человеку неполных семь лет, он покачал головой и сказал: "Папа, ты зря шутишь, с такими вещами не шутят: от огня может сгореть все, даже камни,

даже железо". "Может, сказал я, но нам-то какое дело: нельзя же трястись из-за каждого пожара, который за тридцать земель от нас".

В общем, я все же зря хорохорился: вопреки прогнозу коридорного, пожар оказался нешуточный, были жертвы, и самое ужасное, этими жертвами были дети — трое, одного еще застали в живых и успели отвезти в больницу, но надежды, говорили очевидцы, мало. Кстати, многие из этих очевидцев держались того же мнения, что и наш коридорный: пожар поначалу был с расчетом, чтобы получить страховку, даровые деньги, да огонь все переиграл по-своему, и вот какая получилась трагедия.

Электроплитка, которую принес негр, была двухконфорная, без переключателя, с открытой спиралью. Я поставил кофейник и сковороду, одна конфорка не работала, жена закатила глаза и блаженным голосом процедила: "Техника на грани фантастики!" Терпеть не могу этих штампов современного юмора, но бывают ситуации, когда лучше смолчать, я отключил плитку, нашел место разрыва и соединил концы. Спираль тут же раскалилась докрасна, в месте нового соединения добела, я помедлил секунду, опять поставил кофейник и сковороду, жена набила полдюжину яиц, белок, только что прозрачный, студенистый, как медуза, в нижних слоях стал быстро преобразоваться в некое плотное вещество с голубоватым, как у китайского фарфора, отливом. Преображение длилось, однако, недолго: раздался щелчок, спираль вспыхнула ослепительно, как зарница, и тут же побурела и еще через мгновение вернулась к своему первоначальному виду — черному, с лиловым оттенком, безжизненному куску проволоки.

Я проделал все сначала — пришлось только чуть обломать концы, на которых образовалась слишком плотная окалина, — опять включил плитку, жена стояла над ней с каменным лицом пифии, как их изображали древние греки на своих стеллах, я сказал, от такого лица перегорит не только спираль, перегорит водопроводная труба, спираль, и вправду, опять сгорела, но пусть даже не сгорела бы, все равно пришло

время снимать сковороду. Мне показалось, жена сейчас сорвется, все последние дни, еще с Рима, она чувствовала себя неважно, но нет, не сорвалась, а сказала: "Слушай, надо поговорить с этими кретинами, пусть дадут человеческую плитку".

Сковороду и тарелки поставили на журнальный столик — другого не было, постояльцы, которые три раза на день жарят-шкварят, видимо, не предполагались. Стул, тоже единственный, но из приличного в свое время гарнитура, с резными ножками и великолепной перламутровой инкрустацией, ободралось лишь атласное сиденье, придвинули вплотную к столику. Стал, наконец, закипать кофейник, сын, в тон ему, тоже зашипел-засвистел, мать сказала "уймись", он спросил "почему?" — зашипел еще громче, получил оплеуху, удивился — за что? — я тоже удивился — за что? Ребенок здоров, у него хорошее настроение — она приложила пальцы к вискам, прижала с силой и сказала: "Да, наверное, вы правы, все хорошо. Все хорошо".

Я взял со стула помидор, огурец — черт возьми, за окном декабрь, а у нас весна, как где-нибудь в Одессе или Ялте! — разрезал пополам, еще раз пополам, в каждом было по фунту, не меньше, сын сказал "вкусно", попросил еще, я сказал "молодец, овощи не мясо, не фрукты, можно есть, не разжиреешь". Ему было приятно мое одобрение, он даже сказал, что попросит еще, я опять повторил "сколько угодно, видишь, весь стул завален овощами", а он вдруг завопил не своим голосом: "Таркан, таракан!"

Я посмотрел: действительно, на стуле сидел прусак — верхом на огурце, как рисуют в детских книжках, и спокойно поводил усами.

Я сказал сыну: "Дурак, во-первых, это не таракан, а прусак, а во-вторых, чего орать, они уже триста миллионов лет прусаки, древнее них на Земле никого сейчас нет. Твоя мама — доктор, пусть объяснит тебе: это же, действительно, загадка природы — какие были триста миллионов лет назад, такие и теперь".

"О, Господи, застонала жена, из говна пули лить!" "Слушай,

сказал я, держи себя в руках: ребенок рядом". "Ребенок, сказала она, объехал уже полмира — он знает не только это слово". "При чем тут знает или не знает, взорвался я, настоящая легализация — это когда слова употребляют дома, а когда на улице — это еще не легализация!" "Да, подтвердила она, когда дома — легализация, а когда на улице — нет". Подошла к окну, прижалась лбом к стеклу, руки, как плети, повисли вдоль туловища, колени уперлись в подоконник, посыпалась штукатурка. Сын сказал: "Мама, не дави так сильно, стенка валится". Я подошел к ней, обнял за плечи, она вздрогнула, вся подалась ко мне и тут же оттолкнула: "Ладно, кончайте, айда на улицу!"

Проходя мимо администратора, спросили: "Бродвей куда — направо, налево?" Оказалось, в двух шагах, за поворотом. Чудеса! На углу Сорок девятой и Бродвея остановились: весь тротуар и кусок мостовой были забиты людьми, черными, белыми, оранжевыми, синими — по-настоящему синими, может быть, от холода, от мороза, но синими, с лоснящимися, как воронье крыло, лицами. Молча, без единого звука, лезли один на другого, цеплялись за воротники, за волосы, норовя пробиться к черному лимузину. Тут же, понизу, между ног, люди выбирались на карачках, пятясь задом, с блокнотами, с тетрадами, с клочками бумаги, кто в руке, кто в зубах. Листики в руках — это сразу бросалось в глаза — были почти все мятые, в зубах, наоборот, гладкие, как только что с магазинной полки, лишь чуть влажные, с легким следом зубного прикуса.

"Слушай, — сказала жена, — дают автографы. Надо взять". Она схватила сына, стала пробиваться через толпу и беспрестанно предостерегала всех, пусть будут поосторожнее, а то раздавят ребенка. "Это безумие!" — закричал я, она даже не обернулась. Сначала я видел ее голову, потом головы не стало, остался один голос, потом не стало и голоса, в животе у меня появилось такое ощущение, как будто изнутри его распирает кусок льда. Я ринулся в толпу, пробился с ходу через два-три ряда, но тут же меня стало отжимать кнаружи, я думаю, если бы пробка, которую выталкивает из бутылки

сила сжатого газа, могла рассказать о себе, наверняка, это было бы нечто похожее на то, что испытывал я. Но человек не пробка, и мне захотелось пустить в ход свои кулаки, свои ногти, свои зубы, потому что эти безумцы дралась за росчерк какого-то ублюдка, а я дрался за нечто более существенное для меня, чем даже моя собственная жизнь — я дрался за жизнь своего сына.

Вытолкнутый, я тут же опять ринулся в толпу и в этот раз был намного удачливее и наверняка добрался бы до лимузина, если бы внезапно не схватили меня сзади за волосы и не потянули вон из толпы. "Подонки! — закричал я, — отпусти!"

Я закричал по-русски и немедля получил в ответ, тоже по-русски: "Сам подонки!"

Одной рукой она прижимала к себе сына, а другой размахивала у меня перед носом своим блокнотом, задерживая его на мгновение, чтобы я мог увидеть длинную черную расколючку, ради которой, очертя голову, она бросилась сама и увлекла за собой ребенка в эту человеческую мыловарку.

"Удача, — она была по-настоящему счастлива, — ты представляешь, какая удача!"

"Да, сказал я, это действительно удача". — Выпередить всех этих янки, которые будут лезть один на другого до скончания мира, и нет никакого сомнения, многие так и помрут со своими блокнотами в зубах, без этой черной закорючки, где каждый виток, каждая точка на вес золота.

"Папа, — сказал сын, — они такие дикари, эти американцы: они чуть не задушили меня".

"Чуть, не в счет, — сказала жена, — поцеловала сына и взялась опять размахивать своим блокнотом, — удача! удача!"

Я спросил: "Чей автограф?" Она задумалась, переспросила удивленно: "Чей? — и весело засмеялась, — не знаю, негр какой-то!"

Спросили одного, другого, третьего, никто не знал, наконец, попали на знатока, тот сказал: "Джо Фрезер" и подивился на нас: "Из Югославии, македонцы?" "Нет, сказал я, из России" и спросил: "Что за Фрезер, боксер, что ли?" Оказалось, тот самый, с феноменально сильной левой, что отобрал

у Али мирового чемпиона, а через год потерял, кажется, в тринадцатом раунде, причем показал чудеса акробатики, кувыркнувшись в воздухе от удара Мухаммеда, как котенок, прежде чем шлепнуться на ринг в нокадауне.

"Да, сказал я, не зря старались, такой автограф не каждый день достанешь".

Она взорвалась: "Слушай, самодовольную, нахальную рожу этого Али я видеть не могу. Вся Англия кипела, когда он приходил в домик Роберта Бернса, садился в его кресло и приговаривал: "Да, неплохие вирши кропал парниша!" А Фрезер — интеллигентный человек, музыкант, у него свой джаз, а бокс — так, хобби".

Вдоль Бродвея ледяной ветер, спотыкаясь о выбоины в асфальте и связанные цепями железные урны, гонял перед собой стоязычные газетные полосы с готическим орнаментом, еврейской вязью и столбцами иероглифов, сеченными по диагонали листа, от угла до угла драконами и кимоно. С грохотом, с лязгом, с зубовным скрежетом, как на шабаше, носились по мостовой и тротуарам, проскакивали между ног прохожих, сплющиваясь и раскалываясь, банки, склянки, бутылки из стекла, алюминия, пластика и еще каких-то материалов, которые явились на Землю неведомо откуда, без имени, и вот так, без имени, катились-катились по дорогам.

Сын застучал зубами: холодно, холодно. Спрятались за стеной — большой стеклянной призмой, облепленной голыми девками с тяжелыми ляжками в разворот, волосатые, мускулистые мужики, навалившись на них, совали свои белые прямоугольники в квадраты, опущенные по краям курчавой женской поросль. Девки как девки: одна, запрокинув голову, исходила в немом крике, другая схватила мужика за прямоугольник, старалась как можно глубже задвинуть его в свой квадрат, третья просто прижимала парня к себе, держа его за ягодицы, впритык к промежности. На отдельном щите, с обрыдшей своей улыбочкой удачливого дипломата, в толстых роговых очках, подперев щеку ладонью, возлежал голый Киссинджер, член его, хоть и изрядных размеров, немощно свалился набок, упершись по-собачьи массивной своей головой в лежанку.

Ветер доставал и здесь. "Боже, сказала она, что за город: где ни станешь, везде сквозняк!" Я удивился: "Почему везде? На Бродвее, понятно, больше дует, потому что авеню в Манхеттене все с севера на юг, а на улицах послабее: запад — восток". "Глупости, сказала она, запад в Америке континентальный, и так еще может закрутить, что все эти Эмпайр Стейт Билдинги и Крайслеры сдует в океан, как..." — Она задумалась, наморщила лоб, я хотел помочь — ...как спичечные коробки. — Она вдруг засмеялась: "Помнишь, газеты писали, как сломалось стекло иллюминатора и пассажира выдуло из самолета прямо в пространство?" "Помню, сказал я, нелепый, трагический случай: чему здесь смеяться?" "Да, замотала она головой, ужас, кошмар!" — закрыла лицо ладонями и стала истерически хохотать. Прохожие оглядывались, сын дергал ее за пальто — "Мама, перестань!" — она и сама старалась взять себя в руки, но все шло навыворот. "Ладно, сказал я, ты еще посмейся, а мы пойдем". "Стойте! — закричала она, — я больше не буду", — в самом деле угомонилась, открыла свою сумочку, вынула блокнот, вырвала листок с автографом — каллиграфически четкий, как факсимиле главного казначея на банкноте, росчерк — разорвала на четыре части, еще на четыре, старательно совмещая каждую новую партию четвертушек, швырнула в воздух, ветер тут же подхватил их, они завертелись, заматались, как стая обезумевших бабочек, она опять захохотала, с прежним неистовством, хотя добавилась какая-то новая, слишком высокая нота, сама сказала про себя — "я сумасшедшая!" — и внезапно, в один миг, как по авариной команде электрика "вырубить ток", умолкла.

Я сказал ей: "Ты не человек — ты робот, автомат". Она не ответила. Мне было неприятно ее безучастие, я предпочел бы услышать что-нибудь в обычном ее ключе — сам автомат, сам дурак... За витриной в очередном приступе ярости Кинг-Конг хватал на лету вертолеты, швырял в окна небоскребов, чудовищные взрывы сотрясали Нью-Йорк, кровавое зарево полыхало над городом не то, как закат мира, не то, как заря новой эры на Земле, каучуковые головы Никсона, Форда, Картера, с косыми по шее срезами от ножа гильотины,

цепенели в еще прижизненном своем смехе, горбун Квазимо-до, проклятие Нотр Дам и его благословение, ощерив кабаньи клыки, бросал миру свое последнее: "Сгинь, Дьявол!"

На углу Сорок второй и Бродвея двое черных, в черных капюшонах с прорезами для глаз и рта, пританцовывая на месте, каждая часть тела — ноги, руки, зад, голова — в своем, отдельном ритме, внезапно, то один, то другой, протягивали проходим длинную белую сигарету, несколько шагов следовали за ними, гортанными птичьими голосами торопливо твердя свои заклинания, но не найдя отклика, тут же возвращались на место и возобновляли свой танец. Неожиданно из-за угла выскочил третий, такой же черный, в красном капюшоне, бросился на одного, ударом в скулу сшиб его с ног, потом на другого, тот увернулся, но через мгновение, получив удар головой в живот, отлетел к стене ударившись, успел еще крикнуть и шмякнулся наземь. Красный капюшон тут же подскочил к нему, левой рукой схватил за волосы, трахнул головой о стену, правую занес над собой и кулаком, как в деревне раскалывают орехи, хряснул по носу. Крутые мясные губы, залитые неправдоподобно алой кровью, обмякли, тяжело свесились набок, в верхнем углу вздулись пузырьки розовой слюны. Хотя нужды не было — парень явно слетел с копыт — красный капюшон поддал ему носком под ребра, размахнулся, чтобы поддать еще раз, но внезапно, круто развернувшись, ахнул его каблуком. Промедли секунду, полсекунды, он наверняка получил бы свое между лопаток: первый, тот, что свалился от удара в скулу, вполне очухался, задрал штанину, выхватил из-за голенища нож, стремительно, как фото-блиц, сверкнуло лезвие, и метнулся вперед. Красный капюшон взлетел, не взлетел даже, а, что называется, взмыл в воздух, правая его нога прильнула к первому точно против груди, тот бы и получил в грудь, если бы, кретин, не пригнулся, подставив свою физиономию. Это был удар копытом, удар африканского эму, от которого катятся кубарем, говорят, даже львы, в шестьсот фунтов весом. Парень вылетел на обочину, но это был просто счастливый случай, что на обочину, а не на середину мостовой, прямо под колеса: уда-

рившись о столб с указателем перехода, он тут же грохнулся, разбросав руки с окровавленной мордой, в нелепой позе обеспамятевшего человека.

Кусок тротуара, где завязалась драка — собственно, какая там драка, просто избиение младенцев! — люди обходили далеко, чуть не по центру мостовой, задерживая движение. Истерически, на все голоса, выли сирены и клаксоны, однако люди делали свое, с железным упорством автоматов, следующих заложенной в них программе: обходи помехи!

Красный капюшон крутанулся на месте раз, другой — и не торопясь, трусцой, как по программе Гиллмора, бег для всех, двинул по Сорок второй, спиной к Бродвею.

"Слушай, — это был крик в шепоте, то ли она убоялась собственного громкого голоса, то ли просто отказали голосовые связки, — вызови полицию! Где полиция? Он же убежит, все проходят мимо, и никто не остановит, никого не касается. Вызови полицию, я умоляю тебя, вызови полицию!"

Она схватила меня за рукав, стала дергать вниз-вверх, я сказал, пусть уймется, мне противно это кликушество, она тут же отпустила, прикусила пальцы зубами, гадливость, ненависть, ужас, все перемешалось в ее глазах, и забормотала: "Трус, вонючий трус, ты же и сына своего так бросишь и меня!"

Она зря хлопотала, зря терзала себя страхами: буквально через минуту явилась полиция, два здоровенных капа, видимо, тут же из сабвея, еще через минуту прикатила полицейская машина и вслед за ней амбуланс тоже с полицией. Ребята там помогли подняться, взяли с обеих сторон под мышки и поволокли к карете.

Сержант обратился к прохожим: кто свидетель? Еще раньше, до этого вопроса, он приготовил блокнот, карандаш, и так в позе человека, которому скажи только слово, тут же пойдет черкать, ждал. Свидетелей не было. Все как один — очкастые, глазастые, ушастые, губастые, ослепли, оглохли, онемели.

"Я — свидетель".

Сержант обернулся, мгновенно — знаю, знаю этот взгляд

еще оттуда! — прошелся по мне с ног до головы и сделал от-машку карандашом: опишите.

Она схватила меня за руку, вонзилась ногтями и чуть не завопила: "Ты что, обалдел, они же все, эти американцы, шастают мимо, как ни в чем не бывало, и хоть бы одна скотина остановилась, откликнулась! Куда мы приехали, куда ты меня привез!"

Сержант повторил: "Опишите — возраст, рост, вес, особые приметы". Я сказал, без особых примет — такой же, как те двое, которых забрала карета. Рост: сто семьдесят пять — сто семьдесят восемь. Сержант не понял: "Что сто семьдесят пять? Давайте в футах — дюймах". Я стал пересчитывать: один фут — тридцать и сорок восемь сотых сантиметра, округлим до половины, один дюйм — два и пятьдесят четыре сотых сантиметра, округлим до половины... Она опять загнала свои ногти мне в руку, лягнула каблуком по щиколотке и загундосила: "Идиот, тут же вокруг стоят его дружки, они же убьют тебя!" Я сказал: "Пять футов десять дюймов, но это не точно, приблизительно". "О'кей, кивнул сержант, приблизительно".

"Олух, — запричитала она, — кому нужна твоя засраная арифметика! Ты же делаешь из себя посмешище, они смеются над тобой!"

Вздор, никто не смеялся, наоборот, смотрели серьезно, ни одобрения, ни даже просто удивления. Сержант спросил: "Было у того, в красном капюшоне, оружие?" "Нет, сказал я, не было, а один из этих вынул нож, финку..."

"Бандит! — закричала она, — если ты сейчас же не заткнешься, я у всех на глазах брошусь под машину!"

Сержант сказал: "Опишите в деталях все, как видели". Я начал с белых сигарет, которые те двое протягивали прохожим, сержант остановил меня, попросил описать, как можно точнее, эти сигареты. Я сказал, это были длинные белые сигареты, немножко не такие, как обычно, но я не могу указать, в чем различие.

"Трус! — закричала она, — поганый трус, сейчас он потребует у тебя имя и адрес, и если ты дашь ему, они сегодня же

прирежут и сына, и меня, и тебя! Это же гашишники, урки! Черт с тобой, тебя пусть режут!"

Она ошиблась: сержант не потребовал у меня имени и адреса, он спросил вежливо — по-своему, по-полицейски, с командной нотой в голосе, но вежливо — фамилию, телефон. Я сказал, у нас телефон не работает, надо звонить администратору. Она схватила одной рукой меня, другой — ребенка, за ворот, и потянула за собой. Сын закричал, он задыхался, воротник сдавил ему горло, она дала ему оплеуху, зашипела в мою сторону: "Бандит, трус, все из-за тебя!" Я сказал: "Успокойся, все равно я не собирался давать ему фамилию, адрес". Она застонала: "Кретин, ты забыл свою милицию, ты думаешь, раз Америка, это уже родная тетя тебе!" Я сказал: "Ничего я не забыл и ничего я не думаю, и не надо путать: одно дело — обвиняемый, другое — свидетель. Здесь я свидетель". "Олух, опять застонала она, ты видел, как ведут себя эти свободолоубы, эти американцы: никого не касается, всем наплевать!" Я сказал: "Американцы мне не указ". "Ну да, захохотала она, а как же иначе: мы же приехали сюда, чтобы учить их уму-разуму!"

Черт возьми, как быстро она перестроилась: четверть часа назад она шпыняла меня за то, что я не зову полицию. Впрочем, нет, она права: это же в самом деле не одно и то же — звать полицию и быть свидетелем полиции.

"Слушай, — от быстрой ходьбы она стала задыхаться, — давайте быстрее, пока нас не взяли за жопу!"

Я оглянулся — она истошно закричала: "Не оглядывайся!" Сержант смотрел нам вслед, держа в руках свой блокнот, куда нечего было записывать, потому что на тысячу очевидцев нашелся один свидетель, и этого свидетеля уволокла, как тюфяк с дерьмом, жена, чтобы, не дай Бог, не прирезали гашишники или не взяли за жопу полисмены.

Мы проскочили шесть-семь кварталов, половину — на красный свет. Я сказал: "Мы не умрем от ножа — мы умрем под колесами". "Каркай!" — она едва переводила дыхание, но голос был уже не тот, не было дикого страха, не было дикой, от этого страха, злобы. "Каркай! — повторила она, прислонясь ко мне головой, — авось, накаркаешь!"

Из-за угла вырвался ветер, загнал под ноги афишу, с черными, каждая в аршин, буквами: "Вы имеете больше шансов быть похищенным, чем погибнуть в авиационной катастрофе. Летайте самолетами TWA". "Театр "Рэмрод", Сорок девятая и Бродвей, объявляет полную перемену программы: золотые мальчики из Калифорнии, фантастическая феерия, чистая любовь и живые акты гомосексов на сцене! Спешите увидеть!"

Бородатый юноша, ежась на ветру, совал прохожим приглашения из мира, где всегда тепло: прелестная троица плещется в ванне — он, хоть и без фрака, однако по лицу видать, джентльмен, и две подруги, очень разные, блондинка и брюнетка, но груди поразительно схожи, добротные, как у покойницы, пусть земля ей будет пухом, Мэрилин.

"Я устала, сказала она, хочу домой". Я слышал эти слова в Вене, я слышал эти слова в Венеции, в Вероне, под балконом Джульетты, и вот теперь я слышу их здесь, в Америке. В Нью-Йорке. Странно: неужели она в самом деле думает, что я из железа!

Она вздохнула: "Нет, я не думаю, что ты из железа. Пошли домой. Где сухо и тепло". Интересно, она действительно имела в виду гостиницу или перевела стрелку на ходу?

В номере было тепло. Уютно потрескивали обои. Из угла, между дверью и окном, где оторвался кусок обоев и открылась стена, обычная, подвального цвета бетонная плита, шло веселое шебуршание, сын закричал, чу, мышь, и бросился ловить. Она вздрогнула — фу, гадость! — села на кровать, сбросила, отжимая задники носком, туфли, попросила закрыть занавес и легла.

Я дернул за веревку, над головой заскрипели железки, обе половины занавеса чуть подались к середине и тут же застряли. Я дернул опять, результат был прежний, дернул в третий раз, оборвалась веревка — в месте разрыва видны были отчетливо старые потертости. Она сказала, не надо упрячиться, заведи просто руками, но руками тоже не получалось, обе половины слишком далеко отстояли одна от другой. Она вынула из волос две головные шпильки, протянула мне и сказала: "На,крепи, старайся повыше". Я старался, но

выходило на уровне подоконника, сверху оставался конический, как головка снаряда, с чуть закругленными сторонами, вырез.

"Мальчик, — обратилась она к сыну, — угадай, в какой стране мы находимся".

Сын угадал: "Мы находимся в Америке".

Я не выдержал: "Да, в Америке! Ну, и что же? Что отсюда следует? Что каждый грошовый случай надо возводить в абсолют! Как у ортодоксов из Жмеринки: "Ах, Бога нет! Как нет? А вот так, нет: ихний поп ест раввиншу, а наш ребе — попадью!"

Сын спросил: "Почему поп ест раввиншу, а ребе — попадью?" "Потому, сказал я, что так им нравится", и дернул его за ухо. "Не бей его", — попросила она голосом синагогальной нищенки и поспешно привлекла сына к себе. Классика: мать — заступница, отец — детоубийца!

Зимний день короток, не успеешь оглянуться — ночь. Я сказал, время обедать, приготовь чего-нибудь. Она пожалала плечами: "Чего там готовить, поставь воду, брось цыплят, сами сварятся". И запела: "Цыпленок жареный, цыпленок пареный!"

"Оставь, сказал я, воротит". "А от чикенов, спросила она, тебя не воротит?" "Не, сказал я, здесь, три рубля за пару, не воротит, а там, в Одессе-маме, червонец за колхозную ворону воротило". Черт возьми, эта старая бандерша Беттина таки права: ох, забыли, как жили с ног до головы в говне, и еще как забыли!

С плиткой опять получилась канитель — полчаса на варку, час на ремонт. "Сволочи, сказала она, боба Хая и фетер Сруль платят за нас такие деньги, а они на спиральках экономят, чтоб им на том свете экономило!"

Сын спросил: "Кто это - боба Хая и фетер Сруль? Наши родственники?" "Не только наши, всем евреям родственники, через дядю Хайас и тетю Найану". Установив это родство, она захохотала, как безумная. Мне были неприятны и нелепый смех ее, и пошлые изыски по части родства, тем более, адресованные ребенку. Я сказал: "Мама шутит". Я хотел доба-

вить: "Неудачно шутит", но не успел: дурацкая бомба смежа тряхнула меня изнутри, да так тряхнула, что не только слово произнести было невмочь, но и дохнуть нечем было.

Когда успокоились, она сказала: "Смех и слезы. Но разрядились немного, а то неровен час..." Она не закончила мысли, я закончил за нее: "Все может случиться, так?" Она опустила голову и вдруг, как говорят одесские евреи, ништ гештойген, ништ гефлойген, вспомнила: "Наши, — сама засмеялась, — наши газеты писали, что толпы эмигрантов осаждают советское посольство в Вашингтоне, чтобы вернуться на родину. Родину с большой буквы. Там было смешно. И дико".

Я не стал уточнять, что смешно, что дико: что осаждают посольство или то, что газеты врут напропалую, авось, прибавится полку верноподданных жидов. По известному анекдоту: евреи, которые выезжают, изменники Советского Союза; евреи, которые не хотят выезжать, России верные жида; евреи, которые выехали и вернулись, дважды евреи Советского Союза. Впрочем, последние еще большая редкость, чем дважды Герои Советского Союза: первых я встречал, даже знакомых имел, а дважды евреев — нет, ни одного. Читал только "Девятый круг одессита Макса Конского, который по-видал мир".

Спать легли рано — организм жил еще по часам, которые завела Европа. Со всех сторон — снизу, сверху, с боков — перла музыка. Обычное дело, пока сами болтали, все было в норме, как утихли, оказалось, вокруг шабаш, светопреставление. Она прижала пальцы к вискам: "Господи, чикагская бойня!"

Я спросил сына: "Тебе музыка мешает?" "Не, сказал он, не мешает, хорошая музыка". Вот так, хочешь быть американцем — родись в Америке. Или, по крайней мере, приезжай пораньше, когда еще сладко спится под здешние там-тамы.

Сын заснул первый. Я за ним. Последнее, что я увидел, красное небо за окном и ее глаза, широко, как в трансе, раскрытые.

Проснулся я от толчка, по-собачьи, сразу от сна к бодрости. Занавес был раскрыт, в окне напротив, привалившись

к подоконнику, торчала чудовищная фигура о двух головах, точнее, о двух черных шарах, которые судорожно дергались вверх-вниз. Верхний шар внезапно отпрянул назад, описав дугу в четверть окружности. От фигуры отделился человеческий торс, с двумя непомерно длинными руками, которые охватили с боков другой торс, покачивая его то плавно, как челн на волне, то круто, неистово, в бешеном ритме двух поршней, из которых попеременно, то один, то другой оказывался наверху. Затем верхний торс, после мгновенной, как от стоп-крана, судорожной остановки, навалился на нижний. Опять получилась прежняя, о двух головах, фигура. Верхняя голова, однако, в этот раз привалилась к плечу под ней, было впечатление, что впилась зубами. Раздался тяжкий басовый рык, через мгновение к нему подключился другой, такой же тяжкий, оба нарастали, как будто тягаясь один с другим, внезапно прибавился новый звук — пронзительный, утробный вой, какой бывает от нестерпимой боли, — фигура замерла, оцепенела, затем несколько раз дернулась, конвульсии следовали одна за другой, паузы были неритмичны, поначалу короткие, каждая следующая все длиннее, наконец, прекратились вовсе, и с ними прекратился вой.

Торсы отделились один от другого, повернулись в профиль к окну. Она внезапно прижалась ко мне — черт возьми, я был уверен, она спит! — и закричала: "Какой ужас, они же оба мужики!"

Неправдоподобно большие, четкие, как в театре теней, пенисы ластились друг к другу головками, на манер щенков, которые, наигравшись, набаловавшись вволю, ушли все в негу. Странно, оба располагались почти вровень, хотя парни были разного роста: один, очень черный, с мощной челюстью и крупными, наизнанку, губами — повыше, другой, белый, с такой же, как у его партнера, копной курчавых волос — пониже. Опустив по-девичьи голову, белый притирался к негру, забирал в обе руки его мошонку и пенис, затем, когда последний стал бурно наращивать размеры, пал на колени, широко, как будто в удущье, раскрыл рот. Негр схватил его за волосы, исступленно притягивая к себе, тот, видимо, поперхнулся,

сделал движение головой назад, чтобы освободиться, но черный не позволил, наоборот, подался чреслами вперед, как будто именно того и добивался, чтобы тот задохся, отвел чресла рывком назад, тут же, с силой, подал вперед. Белый пытался отпихнуть его руками, он же, напротив, убыстрил свои движения до такого темпа, когда вроде бы уже и не живой организм, а некая механическая система пришла в крайнее, за пределами контроля, возбуждение, и не только чужая, но и собственная гибель была ей уже не только не страшна, но, напротив, была именно то, к чему она стремилась.

Тут, однако, произошло нечто странное: черный выпучил глаза, сцепил, в оскале, как будто удушая собственный крик, зубы и кулаком, со всего маху, хватил белого по голове. Тот качнулся и вмиг, наверняка в беспамятстве, свалился. Негр, зажав в руках свой скарб, подбежал к лампе, медленно стал разжимать руки, пальцы были все в крови, глаза наполнились ужасом...

"Подонки, — зарыдала она, накрылась подушкой, тут же швырнула подушку в окно, — подонки, как они смели загнать нас в этот вертеп! Не, мы не люди, мы не люди!"

Сын заворочался на своем диване и неожиданно бодрым, не ночным голосом спросил: "Мама плачет? Почему мама плачет?" Я сказал, никто не плачет, тебе приснилось, перебрался на диван, прилег рядом, положил ладонь ему на глаза, он прижал ее крепче двумя своими руками и забормотал: "Папочка, родной, как я тебя люблю!" — и тут же опять заснул.

Разжав руки, черный, все еще в ужасе, выложил на ладонь свои тестис и член — все было на месте, белый не откусил, только разодрал до крови — приподнял в щепоти, поворочал в разные стороны, стянул с кровати простыню, промокнул, крови было порядочно, сделал движение, чтобы промокнуть еще раз, но тут появился белый, стоя на коленях, охватил негра сзади руками, прижался головой, затем, все так же на коленях, перебрался наперед, стал водить носом, губами, языком по ранам, негр прежним манером, пятерней, схватил его за волосы, однако не стал прижимать в этот раз к себе, а

взялся подтягивать кверху, чтобы поднять на ноги. Впечатление было, что тот упрямится, однако поднялся, негр повернул его к кровати, велел упереться ладонями, теперь оба были в профиль к окну, негр стал тыкаться в него своей кишкой, но чего-то не получалось, белый подал руки назад, негр помог ему и тут же лихо, тараном, белый только крикнул, внедрился.

Ее вырвало, она успела подставить ладони, рвота была не очень обильная, но на ладонях все не уместилось, вытекло на постель. Она пошла мыть руки, я принес полотенце, стянул угол простыни, вытер — запах все равно оставался, она побрызгала "Красной Москвой", получился тот букет, сама засмеялась — не то, чтобы засмеялась, а так, полустон-полусмех — опять легла, закрыла лицо руками и вдруг сказала: "Хочу умереть". "Не дури, сказал я, ребенка разбудишь, дети во сне слышат материн голос". "Открой окно, сказала она, хочу выброститься в окно". Я открыл окно, встал рядом и сказал: "Иди, бросайся!" Она заплакала, затряслась вся, я стал возиться с занавесом, но, черт бы его драл, как застрял днем, так и торчал. Она вскочила, схватила занавес двумя руками и стала дергать во все стороны, пока не сорвала. Затем стала топтать его ногами, зашвырнула под кровать и бросилась мне на грудь:

"Ну, почему, почему именно нас угораздило в этот притон!" "Вздор, — сказал я, — какой притон — гостиница в самом центре Манхэттена, не где-нибудь на задворках, просто попались два подонка. А впрочем, почему подонки: может, любят друг друга, может, даже муж и жена". "Да, сказала она, наверняка муж и жена, я же твою теорию знаю: движение гомосексов — великий механизм саморегуляции человечества. А, чтоб ты провалился вместе с ними!"

Немножко философии, немножко проклятий — это уже верная дань оптимизму, тут, главное, не перебрать. Я сказал ей: "Завтра проснешься — все по-другому будет. А сейчас, что за время — ни ночь, ни утро. Час Быка, hora demagogum, самая отвратительная часть суток — душа вроде бы и с тобой и не с тобой..."

В окне напротив погасили свет.

"Господи, — пробормотала она, — наконец-то притомились молодожены, отошли ко сну".

Я стал засыпать, уже и сон пошел — главный мой сон, как КГБ досматривает мои рукописи — она дернула меня за руку: "Слушай, ведь они, подонки, делали свой содом нарочно при свете, у окна, чтобы люди видели!" "Относительно содома, сказал я, существует неясность в терминах: для одних это скотоложество, для других, Крафт-Эбинга, например, скотоложество и педерастия. А Ветхий Завет дает только одно значение: педерастия. Ты права. Давай спать".

"Гады, сказал лейтенант, не доработал вас Гитлер. Ничего, доработаем, не уйдете". Он опрокинул ящик с рукописями, вытряхнул на стол таможенного досмотра, захватил, сколько мог, в охапку и запустил вверх. Когда листы осели, он захватил новую партию, я рванулся к нему — солдат с автоматом наперерез встал передо мной: стоп! Лейтенант загоготал — это был гогот борова, гогот наци, в форме офицера КГБ — стал метать во все стороны листы, жена обняла себя руками, вся тряслась, он подбежал к чугунной печке ("вздор, подумал я, откуда чугунка, здесь таможня!"), зацепил кочергой чугунное кольцо, пламя, выбрасывая свои языки, доставало лист за листом, черные трубки пепла устлали пол, молодой парень, таможенник, глаза, как угли, сказал: "Эй, падлы, осторожно, горят человеческие мозги". Я закричал — "фашисты!" — но звука не было, тело мое сделалось невесомым, ледяной холод пронизал меня. Я объяснял себе, это не тело, это оболочка, тело осталось там, на земле, душа моя отлетает, я умираю, я мертв, раздался дьявольский хохот — "рукописи не горят!" — но рукописи горели и еще как горели. Хохот повторился, с чудовищными, как в театральной преисподней, раскатами, и действительно, свершилось чудо, трубки черного пепла стали расправляться. Лейтенант, обезумев, метался во все стороны, собирая листы пригоршнями, солдат помогал ему, жена моя бросилась на колени, воздела руки к небу — чудо, о, Господи, чудо! — но я, я видел, чуда нет, ярость и торжество ослепили их, лейтенанта, солдата, мою жену, восставшие из пепла лис-

ты не были рукописи, на них были буквы, но эти буквы не складывались в слова, в текст, отдельные буквы сочетались, как в детском букваре — мы, гы, ды! — и, облеченные в звук, были подобны бормотанию безумца или мычанию немого. "Горите же!" — закричал я, схватил кочергу, раскаленные докрасна чугунные кольца взлетели над головами и, Боже мой, какое наслаждение! — чугунное кольцо, как нимб, опустилось на голову лейтенанта и вмиг, как прежде мои рукописи, он обратился в пепел, но фигура его не распалась — черный, в черном обугленном мундире, он стоял, как памятник самому себе: руки с охапкой листов заведены назад в последнем броске, в последнем усилии дожечь нас, тех, кого не дожег Гитлер. "Рукописи мои, закричал я, мои рукописи!" На листах проступали буквы: мы, гы, ды!

"Господи, трясла она меня за руку, проснись: пожар!"

В комнате напротив полыхали языки синего пламени. Желтые, сплюснутые, как яичный желток, основания то всходили, то опали, некие, до странности похожие на мерцающий скелет человека, предметы витали над ними, следуя рисунку пламени или, напротив, подчиняя его себе. Внезапно над пламенем склонились два черепа, с разверстыми челюстями, провалившимися носами и пустыми глазницами, однако пустые эти глазницы были зрячие, хотя без чувства, без нутряного фокуса (по которому одно живое существо судит о намерениях другого), было в них только голое, ничем, ни враждебностью, ни дружелюбием, ни даже простым интересом не помеченное внимание.

"Господи, — зашептала она, руки у нее были ледяные, — что это: там же были двое — муж и жена!"

"Да, — сказал я, — муж и жена — два педераста. А теперь опять муж и жена — два скелета. Не педерасты: скелеты бесполы — пол выражает себя через мягкие ткани".

"Я боюсь, — она закрыла лицо ладонями, спрятала голову у меня под мышкой, — мне страшно".

Черепачканулись один к другому, притерлись лбами, затем с медлительностью, способной довести живых до безумия, стали сблизать свои разверстые челюсти для поцелуя.

Внезапно пламя, как будто плеснули спиртом, полыхнуло чуть не до потолка, по комнате забегали тени, она закричала: "Хватай ребенка, беги на улицу!" Но тут же устыдилась своего крика: скелеты поднялись во весь рост, обнаружались добротные, хорошо упитанные тела, с выдающимися, не только у нее, но и у него, задами, оба бросились на кровать, она развела ноги в стороны, задрала к потолку, он взгромоздился на нее, и пустились в пляс. Заложив руки под зад, она взялась сама себя подбрасывать, затем стремительно перевела свой зад в некое вращательное движение. Черепа, фосфоризируя зеленым, как бывает у мертвечины, прыгали на подушке, как два обрубка, случайно приткнутые к человеческим торсам. Внезапно все замерло, черепа оцепенели, я ждал стона, крика, воя, но не было ни звука, стояла пронзительная, щемящая тишина погоста, мерно, плавно покачиваясь, горело синее пламя. "Господи! — застонала жена, — кошмар, средневековые — пламя, череп, кости — уведи меня отсюда, унеси, убей, я больше не могу. Не могу!"

Она закричала, я зажал ей рот, сказал, это сон, ты кричишь со сна, она посмотрела на меня безумными глазами, опять закричала: "Я знаю, ты хочешь свести меня с ума, ты сговорился с ними!" Черт возьми, это было уже слишком, я дал ей оплеуху, она заплакала и жалобным, детским голоском вдруг спросила: "Ты сказал правду, это сон?" Теперь у меня у самого появилось неприятное чувство — дурацкий розыгрыш! Но кто кого разыгрывает: я ее? она меня? Я сказал: "Да, сон!" Она приникла ко мне, сказала тем же жалким голоском: "Ты видишь, я маленькая, я трусливая, я хочу тебя, возьми меня, немедленно, сейчас же, она стала задыхаться, или я умру. Возьми меня!"

Потом она спросила: "Что-то было? Умоляю, скажи правду, что-то было?" Она взяла мою руку, положила себе на грудь. Я сказал: "Ничего не было!" И повторил зло: "Ничего не было!" Она засмеялась, обняла меня и тихонечко запела: "Баю-баюшки-баю, мама с детками в раю, баю-бай, засыпай!.."

Моя покойная бабушка Малка говорила: "Маленький су-

масшедший домик. Бедламчик". Бабушка Малка знала, что говорит: это же верх вздора — маленький! — как будто су-масшедший дом может быть маленький или большой. Дедушке Арку — бабушка подымала руку над головой, хотела достать кончиками пальцев, но не могла: такой у деда был рост, — убили украинские бандиты, махновцы, у ихнего атамана, батьки Махно, был своим человеком Лева Задов, еврей, у кого только евреи не были своими людьми! Мои желания часто бывают смутны, я не знаю, не понимаю, мне действительно нейдет или это всего лишь призрак хотения, но одно желание — какие там призраки! — бывает пронзительно ясным: убивать. Я знаю, это нехорошо, некрасиво, еврей не должен хотеть, но, Боже мой, нас столько убивали!

...столько убивали!

Баю-бай, засыпай...

Светало.

Кабанье рыло торчало в окне: щетина, клыки, маленькие кровавые глазки, хрюкало пяточком. Грязные копытца возлежали на подоконнике, как школьный экспонат по зоологии парнокопытных. Она захихикала: "Какой милый кабанчик, хочу кабанчика!" Я сказал: "Доктор, держите себя в руках".

Навалясь сзади, женщина оплела кабанью голову руками, захватила в кулак, массируя на манер мастурбанта клыки, кабан нетерпеливо сучил копытцами, женщина терлась своими щеками о щетину. Внезапно она развернулась, забрала кабана на себя, он охватил ее своими ногами, копытца дергались в конвульсиях, как под током. Она стала отжимать кабанью голову книзу, задвигая рылом себе между ног. Было впечатление, что он упрямится, в руке у нее блеснуло острие, она стала тыкать часто, беспорядочно в кабана, тот жалобно захрюкал, она запрокинула голову, разинула рот — Господи, какое страдание, какая мука терзала ее! — а она все шпыняла кабана острием. Тот, остервенев от боли, норовил внедриться всем рылом в могучее ее лоно. Согнув в коленях, она разворотила до предела свои ноги, и вдруг, подавшись вперед, припала лицом к кабаньей голове, сникла вся, провела рукой у себя между ног, ладонь была влажная, не от крови, вытерла

о щетину. Кабан встал на задние ноги, ухватил себя копытцами за голову и стал дергать кверху, как будто хотел отодрать. Она остановила его, повела к кровати, легла, сделала ему знак, чтобы тоже лег, он лег рядом, выпрямился и заложил передние конечности на манер человека себе под голову. Прикрыв левой рукой срамные свои места, правой она нащупала кабаний отросток и зажала в кулаке.

"Господи, застонала жена, где взять силы смотреть на это все!" "Воля твоя, сказал я, не смотри". Хотя вздор: попробуй не смотреть!

Минуту-другую оба лежали неподвижно, затем она принялась теревить отросток, поначалу лениво, размеренно, вся еще во власти неги, с каждой секундой, однако, все быстрее, быстрее, заражаясь собственным нетерпением. Вдруг вскочила, встала на колени над кабаном, завела в себя, направляя обеими руками отросток, выпрямила ноги, захватив кабанью шею ступнями, и стала сновать вверх-вниз. Кабан извлек свои копытца из-под головы, обнял женщину за талию, торс ее выгнулся до предела, несколько раз, не снимаясь с отростка, она обернулась вокруг своей оси, пальцы рук по-птичьи, будто ухватились за толстую жердь, были сведены в судороге, на лицо ее легла прежняя печать нестерпимой муки, голова внезапно запрокинулась, кабан привстал, движение было совершенно человеческое, сунулся к ней рылом, ткнувшись пяточком в грудь, сладко зачавкал, женщина откинулась в изнеможении, стала беспорядочно шарить руками за спиной, но это лишь казалось, что беспорядочно... Через мгновение она выпрямилась, в руке у нее блеснул кинжал — изящный кинжалчик, из тех, какими пользовались патрицианка Лукреция, нанесшая, не стерпев позора поругания, себе удар в грудь, и фанатичка Шарлотта Кордэ, поразившая друга народа Марата, — бросилась на кабана и вонзила кинжал по самую рукоять в сердце.

Жена раскрыла рот, чтобы закричать, но крика не получилось, получился лишь тяжкий сиплый звук, как при удушье, лицо посинело, на шее вздулись вены, дрожащей рукой, прямо из пузырька, я вылил валерианку, сколько было, ей на

губы, не знаю, попало ли что-нибудь в рот, с такой силой сцепила она свои зубы, однако синева сошла, вены опали, вернулось дыхание.

Я никогда не видел столько крови, я никогда не думал, что у живого существа может быть столько крови! Не только кабан, она тоже, оба, буквально утопали в крови. Женщина черпала кровь ладонями, приникала жадно, — я даже не знаю, с чем сравнить, — это была не жадность путника, истомленного жаждой в пустыне, это была жадность оборотня, жадность вампира с неутолимой его жаждой, которая не от тела, потому что тело можно насытить, а от черного духа, которому нет насыщения, — размазывала кровь по лицу, по груди, по чреслам.

Жена прохрипела: "Зови полицию! Надень штаны, беги к администратору, не надо штаны, беги так: полицию, быстрее полицию!"

Когда я вернулся, она сидела на кровати и безумными глазами смотрела в окно. Я сказал: "Зачем, это лишнее". Теми же безумными глазами она взглянула на меня, я не выдержал, отвернулся, взгляд машинально обратился к окну, и, Боже правый, что же я увидел: двое, она и он, уже не кабан, а обыкновенный, с хорошими бицепсами крепкий парень, обмазанные с ног до головы в красное, стояли нагишом, в обнимку, у окна. Взошло солнце, и первые его лучи пали на отель "Амбассадор".

Она спросила: "Что сказал администратор?" Администратор сказал: "О'кей!" "Это все?" "Это все?"

В тот же день администратор передал приглашение из НАЙАНЫ — в отель "Джордж Вашингтон" на инструктаж. Давали бутерброды с сыром, с помидорками, пирог и кофе с молоком. Пирог был слоеный. Мистер Блюменталь, маленький еврей, веснушки по лысине, как стертые центы на ладони у нищего, сказал: "Я сам только тридцать лет как из Польши, понимаем эмигрантов, пару долларов потеряли на сабвей — пару долларов сэкономили через ланч. Как говорят у вас в Одессе? Тоже хлеб!"

Мистер Блюменталь все-таки давно был эмигрантом: мы не

тратились на сабвей, мы имели чистую экономию в два доллара, сорок кварталов пешком туда и сорок обратно — пара пустяков. Госпожа Адель Тосканелли, наша ведущая, вся в лиловом, сказала: "Вам можно позавидовать — отель в самом центре Нью-Йорка! Под боком Метрополитэн-опера. Гуляйте и смотрите, пока гуляется и смотрится". Жена сказала: "Это не отель — это вертеп!" Госпожа Тосканелли развела руками. "Я боюсь, сказала жена, у нас ребенок". "Ищите квартиру, сказала госпожа Тосканелли, чем быстрее, тем лучше: мы платим бешеные деньги". "Я боюсь, сказала жена, у нас ребенок, там опасно". "Вы приехали в Нью-Йорк, сказала госпожа Тосканелли, Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Везде есть свои "да" и свои "нет". Где не опасно? В России? В Италии? А самолет..." Я добавил: "А быть похищенным? Быть похищенным — больше шансов, чем погибнуть в авиационной катастрофе. Летайте самолетами TWA!.." Госпожа Тосканелли пожала плечами: "Интересно, я не знала. А теперь отдохните, с дороги всегда все не так — через пару дней будет по-другому".

Следующая ночь прошла спокойно. Я сказал жене: "Ведущая права". И ночь после этой ночи была спокойная. Жена сказала: "Не так страшно, можно жить". Следующая ночь после этих двух тоже была спокойная: слонялись по комнате паренек с девчонкой, хорошая пара, были какие-то шорохи, какие-то вскрики со сна, какие-то стоны, то женские, то мужские, то вместе, а в общем, ничего особенного. А среди дня прибыла полиция, сначала так, потом приволокли носилки, в номер порожняком, а из номера — с грузом: тело завернуто в зеленое, не то мешок, не то кусок дерюги, по рельефу не поймешь, женщина ли, мужчина, а в общем, какая разница — был человек, нет человека.

Долго гуляли по Бродвею, по Централ-парку, ели сладости, много ели, купили сыну игрушки — лоток, мыльный раствор для цветных пузырей и тростинку для выдувания, все за шестьдесят девять центов в магазине "69 центов", на углу Бродвея и Сорок второй. Над головой всю дорогу кружили шары, красный, оранжевый, желтый, голубой, еле волокля

ноги, сын захныкал, хочу домой, и тут ее прорвало: "Кретин, куда домой, у нас нет дома, нас убьют там! И пикнуть не дадут — только три зеленых тюфяка, один за другим, один за другим".

"Не дури, сказал я, натопались — пора до дому".

Вот он, гостинный наш двор — налево АМБАС, направо САДОР.

"Добрый вечер, господа, — администратор сжал обе руки и потряс ими в воздухе, — ну, как Нью-Йорк? Ах, Нью-Йорк! — Да, спохватился администратор, — тут вас спрашивала полиция... ну, в связи с этим. Господа, я хочу поставить вас в известность: если вы ничего не слышали, ничего не знаете, стало быть, вы ничего не слышали и ничего не знаете."

"Идиот, сказала она, неужели он не понимает: ведь мы действительно ничего не слышали и ничего не знаем".



Анатолий ЖИГАЛОВ

ШЕПОТ СРЕДИ ШУМА

* * *

о куколка
 из кокона уюта
 уйдешь не в смерть
 но в твердь небесную
 и сутолока
 цветочная тебя охватит целиком
 язык порхающих поэм
 заучишь назубок
 всю книгу бытия
 всосав от А до Я
 с лучистым молоком
 твой кружевной пролог
 семимолчальный
 мартиролог пополнит беспечальный
 и станет петь
 сухая жердь

ШЕПОТ СРЕДИ ШУМА

листвою ласточки ликуя
 словарь лесов толкуя
 кукуя днями напролет
 гостя чужим аэродромом
 (гостиницу предпочитая дому)
 мелькает вещий самолет
 питая суеверие людское
 механикой двойного боя
 твоя спиральная игра
 таит опасность светлый житель
 уж караулит истребитель
 унести тебя где тьмы дыра
 но это тоже лишь игра
 из таинства пищеваренья
 уже грядет залог рожденья
 все будешь травка или прах
 и все с осанной на устах
 душа из плотского дворца
 да хвалит своего Творца

1970

* * *

опять я — в бред и в ночь
 и вновь как будто утро отказалось
 придти
 предтеча обезглавлен —
 пляши же Саломея
 ты добыла приз
 целуй луженые проклятьем губы
 губя — беги — и гибни — и танцуй

гремите грозные тимпаны
 цимбалы — ветер и травы
 возвращенные одной рукой

а раковины зреют на дне моря
и меры нет измерить расстоянье
от губ к богам
соделанным губами
содеянное не вернешь не вырвешь
не выявишь жандармским заклинаньем
закланье большеглазой лани

затмит ли затемнение темницы
свет пробившийся сквозь лица

шепот среди шума
угол ли храма
голод ли славных
огонь ли для умных

муками праведных
пепел по урнам

* * *

я вовсе ведь не виноват
то разбомбленная баржа
ломая ребра рвется в ад
ей не сойти с морского дна

загадки неба наизусть
я как безумный изучил
я знаю землю
знаю грусть
пил нектар утр
и ночи деготь
мне горло горечью лудил

там на ладони вечных вод
уперся в небо острый ноготь
щекочет неба мертвый бок

тот ноготь белый как пески
в которых трупы как глазки
подслеповаты и узки
на тех костях и на песке
какой-то желтый маникюр
и ветер желчью шлифует юр
и сушит трупы словно хлеб

рыдая тянутся в тот склеп
хромые жухлые лучи —
и им от солнца не уйти

1960



Анри ВОЛОХОНСКИЙ

ПЕСНЯ

*(о собаке друга, проглотившей
известные важные бумаги)*

Государственный случай — немыслимый факт
Верный пес предпочел колбасе
И айидентити карт и сикьюрити карт
И грин-карт и лесе и пасе

Не бывало такого — неслыханный фарт:
Верно, личность проснулась во псе
— Съел сикьюрити карт, съел айидентити карт
Съел грин-карт, съел лесе, съел пасе

Кто — пешком по хтонической веси без нарт?
Кто — верхом на соленом лесе?
Это ты — ни айидентисикьюрити карт
Это ты — ни пасе, ни лесе.

Прозерпина Фортуны Свободу, о, брат,
Не раскрутит в своем колесе

ПЕСНЯ

133

Не вернешься обратно без кьюрити карт
Без грин-карт, без пасе, без лесе

И рыдает покинут Европы Левант
Стонет эхо по беглой красе
По айидентити понт — грин-сикьюрити фант
По ермайл, по лесе — по пасе

Продлевая зимы ослепительный март
Пляшет небо на вечном хвосте
У сикьюрити карт нет айидентити карт
У лесе не осталось пасе

Не сгодились на дело — пускай на поп-арт
Повисев у Дали на усе
Всех сикьюриайден-тити-тити-карт-карт
Всех зеленых и синих лесе.

1978 г. Тивериада



Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

НЫНЕШНИЕ И БУДУЩИЕ ПРАВИТЕЛИ РОССИИ

Политический горизонт России замкнут национальным ощущением, что прошлое еще не исчерпано окончательно, чтобы торопиться начинать будущее. Одни винят Хрущева за то, что он прервал величественное шествие Сталинской империи, другие Сталина, — что он изменил делу Ленина, третьи Ленина, — что он свернул Россию с коренного русского пути, четвертые, углубляясь в почти легендарное (за неимением достоверной истории) прошлое, валят все грехи на Петра Великого за то, что он "прорубил окно в Европу".

Какое там будущее, когда Россия не уяснила самой себе своего прошлого и находится в перманентном конфликте с собственной историей, тысячу раз переписанной заново, начисто и противоположно! В России есть точки зрения на прошлое, но ее прошлое заслонено толпой самозванных историков, а по сути — политиков. История в услужении у политики, а не сама по себе, увы. А ведь пророк, по теперешнему футуролог, — это историк будущего, и его работа идет вслепую, как у крота: не стереопанорама, но узкая щель, замочная скважина, тьма египетская...

Тем временем американские пророки из Белого дома, Государственного Департамента и ЦРУ интенсивно гадают о персональных перемещениях в кремлевской верхушке в связи с катастрофическим одряхлением советского лидера. Эта наука называется кремлентологией, хотя ей больше подошло бы имя гадания на кофейной гуще, либо по звездам, либо черной магии, либо даже Каббалы. Догадки одна фантастичнее другой! То техническая ошибка в советской газете сенсационно трактуется как тайный знак падения одного из членов правящего страной 13-членного Политбюро ЦК. То, сразу же вслед за этой вымышленной опалой следует не менее фантастическое возвышение другого его члена — на том единственном основании, что он входил в Венскую свиту Брежнева на переговорах с Картером, в то время как в ситуации, подобной теперешней в России, наследников не возят с собой, а оставляют стеречь наследство. Один из нас имел уже возможность отрецензировать один из актов этой "комедии ошибок" в "Нью-Йорк Таймс" — кто следующий падет либо будет вознесен по милости ее авторов? Мистические эти откровения — неизбежное, хотя и парадоксальное следствие той фактографии, импрессионизма и бесконцептуальности, которые стали уже традицией кремлентологии. Персональные изменения в правящей советской верхушке возможно с известной долей точности высчитать только, если рассматривать их под углом происходящих в стране идеологических сдвигов, исходя из существующей сейчас политической дислокации в СССР.

Оговорим сразу же наше несогласие с расхожим западным предрассудком о России — с представлением о ее теперешнем политическом строе, как о чем-то насильственном и постороннем различным слоям русского населения.

На самом деле, колоссальный аппарат принуждения существует прежде всего ввиду внешней угрозы (реальной или воображаемой — все равно) и для удержания в пределах СССР народов-сателлитов, а точнее, окраинных народов СССР — двойной пограничный пояс: союзные республики и социалистические страны. Что же касается собственно России, то нам

представляется, что нынешний режим вполне устраивает и отвечает социальным, политическим, моральным и психологическим нуждам ее населения — иначе нам пришлось бы прибегнуть к мистическому объяснению происхождения Советской власти. Если бы сейчас в России были проведены свободные выборы, то, возможно, они бы привели к власти тех же самых партийных бюрократов, либо еще худшую породу — неосталинистов и национал-шовинистов.

Мы предвидим здесь удивленные и несогласные возгласы наших читателей, но это еще более понуждает нас высказать отстоявшийся вывод всей нашей семидесятилетней (при сложении!) жизни в России: то, что чеху, или поляку, или эстонцу представляется худшей формой тоталитаризма для значительной части российского населения является своего рода "стихийной демократией", адекватной его правовому сознанию, социальным нуждам и исторической традиции. Причем "демократия" эта многообразна — от демократии партийной олигархии до народной демократии. К примеру, падение Хрущева является как раз парадоксальным доказательством существования в Советском Союзе "демократии", механики которой Хрущев не учел, что и было причиной его падения — совсем не неожиданного, как полагают некоторые советологи, но неизбежного; странно не то, что он пал, но, скорее, то, что он пал в 1964 году, а не в 1957! Другое доказательство стихийной русской "демократии" — политическое долголетие Брежнева: будучи бесцветным и безыдейным аппаратчиком, он стал фигурой компромисса между ястребами и голубями как в кремлевской верхушке, так и в народных низах.

Впрочем, вместо сугубо умозрительных и условных "голубей" и "ястребов" мы обнаружим, как минимум, пять различной политической влияния групп, которые определяют структуру нынешнего динамического равновесия власти в России — оно неизбежно должно быть вот-вот нарушено победой (или хотя бы перевесом) одной из этих групп, и тогда бесцветный промежуток брежневского правления примет, наконец, цвет, и Безвременье станет Временем.

Наша задача выявить эту скрытую политическую борьбу до того, как на сцене появятся победители и побежденные.

СЕКРЕТ БРЕЖНЕВА, ИЛИ ЭЛИКСИР ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Нынешние советские руководители являют собой возрастной феномен. Это словно бы живая иллюстрация к рассказу о Совете старейшин первобытного племени. Когда по торжественным советским праздникам видишь их на трибуне Ленинского мавзолея, испытываешь к ним острое сочувствие (независимо от отношения к их политическим акциям): по требованиям традиционного регламента советские геронтократы вынуждены простаивать здесь часами, в любую погоду, перед многотысячным военно-гражданским потоком, текущим перед ними по Красной площади, как гигантская гусеница.

Политическая устойчивость еле стоящего на ногах Брежнева и вовсе загадочна — кому понадобилось держать этого больного человека у власти, вместо того, чтобы немедленно уложить его в постель? "Роковое бремя" власти он несет с поразительным упорством, напоминая то ли андерсеновского оловянного солдатика, то ли реальных японских солдат, которые продолжали сопротивляться невидимому врагу, когда их страна давно уже ему сдалась и даже успела с ним подружиться. В Вене Брежневу стоило огромных усилий любое движение, все равно, какое: слушать Моцартова "Похищение из Сераля", спуститься по лестнице или поднять тяжелый том договора SALT—2.

В 1977 году, когда мы еще были в Советском Союзе, официальные лица из аппарата ЦК на закрытых лекциях в научно-исследовательских институтах критиковали Брежнева за его идеологическое примиренчество и дипломатические компромиссы, а также за "покровительство сионистам, которые окопались в Институте Америки под крылышком Арбатова". Брежневу, однако, удалось удержаться у власти благодаря тому, что он учел ошибки своего предшественни-

ка. Хрущев совершил свой главный государственный переворот в 1957 году, после того, как почти все его соратники восстали против него, но ему удалось их усмирить и в несколько приемов от них избавиться, обновить состав Политбюро (тогда он назывался Президиумом) и настоять на своем антисталинском курсе. В конце концов, этот курс привел его все-таки к падению.

Секрет успешного пока что брежневского маневрирования заключается в том, что — в отличие от Хрущева — политическая власть Брежневу дороже политических идей: последними он легко жертвует ради первой.

Такова его тактика: победив политического противника персонально, он уступает ему идеологически, идет на компромисс с его направлением. Устраняя из Политбюро наиболее яростных сталинистов, Брежнев сам неуклонно поворачивал курс государственного корабля к сталинизму. Поэтому шесть контрпереворотов Брежнева за время его правления (приблизительно, по одному в два года) — это одновременно пере рождение власти, внутреннее ее превращение. Из старого Политбюро, которое в "Малый Октябрь" 1964 года сбросило Хрущева, кроме Брежнева, осталось всего трое: Косыгин, Сулов, Кириленко. Из шести изгнанников четыре — Шелепин, Шелест, Полянский и Подгорный — были ястребами, да еще какими! К ним следует добавить смещенных со своих постов не членов Политбюро, но тем не менее очень влиятельных политических сановников — таких, к примеру, как Сергей Павлов или ленинградский партийный руководитель Василий Толстиков.

Александра Шелепина называли "железным Шуриком". Методы когда-то им возглавляемого КГБ он пытался распространить на всю страну, объясняя это необходимостью сильной власти и дисциплины. Сам он называл свое направление "рабочей оппозицией", ратовал за возвращение от бюрократической диктатуры к диктатуре пролетариата и чистому социализму и готов был лично возглавить крестовый поход против обуржуазившейся интеллигенции и прозападнических евреев. Его падение было таким же стремительным, как и восхождение

ние к власти: Первый секретарь Комсомола, Председатель КГБ, Секретарь ЦК партии (с одновременным членством в Президиуме), Председатель ВЦСПС, номинальная должность, но даже на ней он не смог удержаться и канул в неизвестность. Честолюбие его было непомерно, характер воистину железный, почти полный контроль над КГБ и ключевые посты в партии. Его устранение — самая большая удача Брежнева.

С остальными расправиться было легче. Ставленник Шелепина Сергей Павлов пытался превратить возглавляемый им Комсомол в подобие Гитлерюнга. При отсутствии Гитлера это было опасное опережение реальной власти. На официальную критику он обычно отвечал, что комсомол — это цепной пес партии и обязан бежать впереди хозяина. Его сняли, когда он попытался ввести в Комсомоле специальную униформу и выделить из своих чернорубашечников боевые отряды штурмовиков (сейчас он возглавляет Комитет физкультуры и спорта и усердно готовится к Московской Олимпиаде).

Дмитрий Полянский занимал противоположную Шелепину позицию: если последний выступал под "рабочим" знаменем, то Полянский под "крестьянским" — такова была внешняя окраска его национал-шовинизма и черносотенства. По иронии судьбы, он был понижен сначала до министра сельского хозяйства, самый безнадежный, провальный пост в советской иерархии, а потом отправлен в почетную ссылку, послом в Японию. Рядом, послом в Китай, был отправлен Василий Толстиков — за автономное самоуправство в Ленинграде: он хотел быть большим роялистом, чем сам король.

Подгорный был членом не только Политбюро, но и его ядра, триумвирата, как минимум, третьим человеком в государстве, которое официально возглавлял. На посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР его сменил сам Брежнев. Подгорный был снят со всех постов сразу же вслед за своим африканским вояжем, когда он пытался сделать советскую политику там еще более экстремистской и жесткой, что шло вразрез с детантом и обременяло и без того перегруженный советский бюджет. Похоже, он попытался

сместить Брежнева — антибрежневские лекции были незадолго перед падением Подгорного. Это была дуэль двух аппаратов и соответственно двух политических тенденций.

Наконец, Шелест, украинский партийный секретарь, был главным инициатором оккупации Чехословакии (из советских; еще был немец Вальтер Ульбрихт) — его атакующий стиль, *Sturm und Drang*, описан в воспоминаниях одного из руководителей Пражской весны Йозефа Смирковского.

Из тех, кто голосовал в 1969 году за ввод советских войск в Чехословакию (по слухам, этот вопрос был решен на заседании Политбюро ЦК простым большинством в два голоса), остался один человек — Леонид Брежнев. Его отличие от "павших ангелов" ситуативное — ответственность власти сдерживает его естественные наклонности. Он — ястреб, но ястреб воспитанный, умеющий, когда надо, вести себя, как голубь. (Таков закон: экстремисты, придя к власти, становятся прагматиками.)

Превращение Брежнева несколько иное: бюрократ придал в нем сталиниста. Легко представить, каким был бы политический курс Советского Союза, если бы остальным сталинистам удалось удержаться в кремлевской верхушке.

Нынешнее Политбюро ЦК — это тонкая и содрогаемая от постоянных ударов преграда на пути сталинистов к власти. Отсюда повторяемость и регулярность попыток устранить от власти брежневский аппарат. Отсюда же неизбежное и неуклонное перерождение этого аппарата — это перерождается клеточная ткань всего государственного организма, как при раковом заболевании, когда метастазы заменяют собой живые клетки.

Победа — это внутреннее превращение.

Победы центристов над сталинистами оказались возможны только ввиду того, что центристы сами неуклонно сталинизировались. Такова парадоксальная природа этого подвижного компромисса в Кремле: правые экстремисты удаляются из правящей верхушки, зато правящая верхушка неукоснительно правит.

Победитель, победив, оказывается побежденным. Зато

побежденный побеждает. Метаморфоза, описанная в Библии, — зерно, чтобы прорасти, должно умереть.

Время Брежнева называют бесцветным — по контрасту с прошлыми советскими временами, которые были окрашены более ярко: сталинское и хрущевское. В отличие от Сталина и Хрущева, Брежнев, и в самом деле, лишен яркой индивидуальности, которая в условиях тоталитарного государства становится знаком волюнтаризма. Сталин и Хрущев — две крайности советского правления (минуем нравственную оценку). Они оба были волюнтаристами, хотя их волюнтаризм был разнонаправлен: в сторону массового политического террора у одного и в сторону либерализации у другого. Сталин резко накренил корабль государства и чуть не потопил его в кровавой пучине, Хрущев, спасая его, качнул в противоположную сторону — так называемая "оттепель". Брежнев выровнял курс корабля и ввел его в традиционный фарватер бюрократического правления без либеральных либо тиранических крайностей. Бесцветье этого времени объясняется сопротивлением Брежнева попыткам своих оппонентов окрасить время в какой-нибудь определенный цвет: он противостоял одновременно экстремизму либералов и экстремизму неосталинистов. Естественно, что последние были многочисленнее и устойчивее первых, и политическое сопротивление Брежнева либералам было эффективнее сопротивления сталинистам.

Бесцветье брежневского времени мнимое. Это значит, во-первых, что изменения в нем происходят тайно, а во-вторых, что они тем сильнее проявятся впоследствии, чем более были скрыты до того. И только тогда мы сможем это время оценить объективно — по контрасту с тем, которое его сменит.

Что же касается лично Брежнева, то вряд ли он сейчас способен на борьбу за власть. Существуют какие-то засценические персонажи, которые судорожно, из последних сил, пытаются удержать у власти физически и политически немощного лидера, чтобы заслонить вход в Кремль "новым таинственным пришельцам".

"СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"

Несомненно, что сейчас от имени политически немощного Брежнева и прикрываясь его именем, страной правят "аппаратчики" — группа партийных бюрократов при поддержке мощной машины КГБ: не столько мозговой, сколько управленческий центр. Это — внеидеологическая, хотя и самая многочисленная группа. Она не строит дальних планов и печется единственно о карьере, ради которой примкнет к любой другой группе, если та покажется ей перспективной. В теперешней дислокации и в преддверии политических изменений аппаратчики — запасные игроки, которые терпеливо ждут, кто победит, чтобы встать на сторону победителя.

А пока что они все более склоняются к испытанному образцу правления — к сталинизму, хотя и надеются избежать паранойальных уклонов того времени, прежде всего из инстинкта самосохранения.

На наш взгляд, неосталинизм — политический идеал не только партийных бюрократов, но и разных слоев советского населения: от пенсионера до военачальника, от домохозяйки до милиционера, до алкаша. Последний надеется, что с возвратом сталинских времен он прекратит пить и возвратится к нормальной жизни — то ли под идеологическим гипнозом, то ли под страхом наказания, которого нет в теперешние либеральные времена. Пенсионер вспоминает о боях под Берлином, домохозяйка о регулярных снижениях цен, иной из молодых, родившийся после смерти генералиссимуса и знающий о нем понаслышке, тем не менее, заочно в него влюблен и противопоставляет представительного Сталина развалине Брежневу: "Стыдно было по телевизору смотреть — будто мы не великая держава?" Стороннему взгляду это покажется случаем массового психоза — это и в самом деле приняло характер наваждения. Мечта о реабилитации Сталина и реставрации сталинизма — это мечта о сильной власти, о дисциплине, о представительности, мечта имперского народа об империи. Сталин кажется панацеей от тех недостатков, которые население ежедневно наблюдает вокруг себя.

Плюс, конечно, внешнеполитические условия — Китай, Восточная Европа, Америка, мировой сионизм. Папа Римский и так далее, до бесконечности: Россия всегда жила в ощущении угрозы и страха.

И низы и верха привыкли жить круглыми датами — от юбилея к юбилею: 100 лет Ленину, 75 лет Коммунистической партии, 60 лет Октябрьской революции, столько же армии и так далее. Десять лет назад страна готовилась отпраздновать 90-летие Сталина, но в последний момент это решение было отменено. Сейчас приближается еще более круглая, идеально круглая дата, и неосталинисты надеются на реванш. Сначала был выпущен подпольный календарь с картинками из жизни Сталина и почти открыто распространялся — 1 рубль штука. В этом году, после почти 25-летнего перерыва, сталинский портрет оказался, наконец, и в официальном календаре. Так безотказно действует механизм стихийной "демократии" в условиях тоталитарного общества.

Сталин появляется в стихах, романах, фильмах, речах. При его упоминании высокое собрание военачальников, как по команде, вскакивает и долго, демонстративно долго, аплодирует. Публикуется стихотворение, автор которого предлагает возвести в Москве Пантеон Сталина — видимо, в дополнение, а, возможно, и взамен мавзолею Ленина, где Сталину удалось пролежать всего несколько лет и откуда он был, по решению XXII съезда партии, торжественно и с позором изгнан.

Когда Сталина темной октябрьской ночью 1962 года, под усиленной охраной, вынесли из мавзолея и положили в "простую" партийную могилу, рядом с кремлевской стеной, тогдашний бунтарь поэт Евгений Евтушенко призвал устроить караул у его могилы, "чтоб Сталин не встал, и со Сталиным — прошлое". Увы, тревога поэта оказалась вполне обоснованной, а охрана недостаточной.

Мы могли бы сравнить Сталина с близкими американскому сердцу героями триллеров Мамми или Франкенштайном, однако останемся верны русской традиции и позаимствуем образ из балета Чайковского. Сталин сейчас, как Спящая кра-

савица, к которой со всех сторон спешат принцы разных идейных кровей, дабы пробудить ее (его) к политической жизни. Причем наиболее вероятный претендент на эту завидную партию — не аппаратчик-неосталинист, но русский национал-шовинист, пассеист, прошлокопатель, некрофил.

ПОСТУПЬ ШОВИНИЗМА

Идеи не возникают самопроизвольно, не самозарождаются из ничего. Как в природе, для их рождения необходимо соединение двух начал, двух встречных желаний. В непорочное зачатие мы не верим.

Возникновение идеи — это ответ на ее отсутствие. Свято место, как известно, пусто не бывает.

Русская идея возникла во время затянувшейся идеологической паузы, когда в бюрократической структуре созрела необходимость в новом внутреннем двигателе — взамен вышедшего из строя и работающего по инерции либо на холостых оборотах.

Тем более, в России образовалась сейчас даже не одна, а целых две паузы, две торичеллиевы пустоты, куда, как ртуть в барометре, устремляются новые лозунги: политическая пустота и идеологическая пустота. Первая — в связи с физическим одряхлением кремлевских геронтократов, вторая — в связи с постепенным умиранием (а точнее — вымиранием) коммунистической идеологии. Было бы удивительно, если бы в этой ситуации при столь выгодных условиях не возникло оппозиционное идеологическое движение с претензиями на духовное лидерство и политическую власть. При отсутствии свободы как реальности и как традиции эта оппозиция должна была возникнуть справа, как полицейская поправка к Советской власти. Это был ответ не только на отсутствие в стране идеологии, но и на эмбриональные проявления либерализма. Не менее естественно, что идеология, претендующая на укрепление власти в многонациональной империи, должна была принять великодержавные, шовинистические черты. Более того, возрождение русского национализма проходило

с некоторым запаздыванием по сравнению с ростом еврейского, украинского, литовского, грузинского и других национализмов, потому что было ответной и, как казалось русским националистам, защитной, оборонительной реакцией. Кстати, у национальных движений в советских республиках (как и у либералов) было бы куда больше шансов на успех (или хотя бы на выживание), если бы им противостояли только ортодоксы и бюрократы. Ведь начинали они свое сопротивление именно им и не заметили, как своей борьбой пробудили к жизни великодержавный национал-шовинизм, словно бы сама империя из инстинкта самосохранения отрастила себе этот страшный бивень.

Короче, подъем великодержавного национализма в России можно было бы вычислить, исходя из ситуации, как историческую, политическую и даже логическую неизбежность.

Отсюда законное удивление и раздражение русских националистов на то, что Запад их не замечает, в то время как придает такое большое значение столь ничтожной в количественном и стратегическом отношении группе, как диссиденты. Один из глашатаев русского шовинизма художник Илья Глазунов попрекнул американских корреспондентов в Москве в том, что "они видят матрешку и не подозревают о хитроумном ее устройстве. Им кажется, что это одна кукла с официальным правительственным лицом и диссидентским сахаровским нутром. Таким образом они игнорируют всех других матрешек, вложенных в большую, а ведь у каждой из них свой лик и своя изнанка" (обратный перевод с английского).

Читатель может возразить: в СССР — однопартийная система, и ведущая роль Коммунистической партии зафиксирована даже в конституции. Однако мы настаиваем на существовании еще одной партии, наиболее сейчас могущественной и перспективной группировке в СССР. По нашим прогнозам, именно этой партии принадлежит будущее и, скорее всего, — весьма недалекое.

Русская партия — это полуподпольная организация, которая для пропаганды своих идей пользуется как нелегальными, так и вполне легальными мощными средствами.

Живя в России, мы встречались с самыми разными представителями этой партии — от высокого чиновника до опального литератора. У этой организации есть свои спикеры, демагоги и глашатаи типа художника Ильи Глазунова, но есть и другие, куда более влиятельные, хотя и тайные члены, которые предпочитают оставаться пока что в тени — слишком высокие посты они занимают в государственном аппарате. Эти одновременные члены сразу двух партий — полуподпольной Русской и официальной Коммунистической — ждут своего часа, чтобы прервать вынужденное двойничество и, сорвав официальную маску, открыто присоединиться к "товарищам по оружию".

При всех своих ответвлениях, фракциях и даже ересьях Русская партия представляет собой реальный политический орган с Центральным Комитетом, теневым кабинетом министров, идеологами, адептами и железной связью провинций с московской метрополией. По сравнению с Коммунистической партией, ей, возможно, не хватает партийных взносов и бюрократического централизма, которого в ней все же больше, чем в любой из двух американских партий.

Конечно, в Русской партии много от игры, от "бесовства", но разве марксистские революционные кружки начала столетия можно было представить реальной политической силой в России, коей они стали после переворота семнадцатого года?

В подъеме русского национал-шовинизма первостепенную роль сыграло — и продолжает играть — демографическое отеснение русских на задний план в стране, где русским принадлежит верховная власть (русский народ — "старший брат", по сталинской терминологии), а в количественном отношении он теперь уступает общей сумме народов, ему подчиненных и противостоящих. Этот демографический регресс уже необратим: русские в России неизбежно окажутся вскоре среди ее национальных меньшинств. Отсюда преимущественная окраска теперешнего русского национализма: шовинистическая, великодержавная, колониалистская. Недаром, кстати, влияние русофильской пропаганды в армии и покровительство руситам со стороны таких знаменитых полководцев, как Чуйков и Епишев — тайные адепты Русской партии.

Маршал Чуйков стоял у колыбели русского национально-го движения, с полным основанием его можно назвать крестным отцом национал-шовинизма. Прямого, кровного родства с идеями Русской партии у него поначалу не было, он — человек со стороны, но именно с той стороны, которая придала движению уверенность. Высокий этот покровитель официально занял пост почетного Председателя Всероссийского объединения патриотических обществ "Россия", которые в шестидесятых годах стали плодиться по всей стране с катастрофической быстротой, как грибы после дождя. Структура каждого такого общества базировалась на добровольных началах, собирая вокруг себя волонтеров, энтузиастов и фанатиков.

Однако во главе обществ стояли тщательно отобранные официальные лица, которые получали высокую зарплату и были подведомственны бюрократически — Министерству культуры, идейно — Русской партии и тайно — Комитету Государственной Безопасности.

Трудно представить, чтобы в стране, насквозь прослоенной КГБ, могла бы возникнуть организация без его помощи, покровительства, а тем более ведома.

Общества "Россия" стали первоначальными ячейками Русской партии — как римские катакомбы для первых христиан.

Период активной полуподпольной деятельности Русской партии — середина шестидесятых годов. В семидесятые годы ей все больше дозволяется и в подцензурной советской печати и шире — в контролируемой общественной и политической сферах.

Более того — чем сильнее зажим либеральной активности, тем больше свободы для национал-шовинистической. Эта обратная пропорция — следствие тех политических качелей, на одной стороне которых находились либералы, а на другой — национал-шовинисты. Сейчас таких качелей уже нет, но именно их качание определяло колеблющую, неустойчивую, туман-

ную политическую атмосферу шестидесятых годов. Августовской ночью 1968 года качание прекратилось — советские танки вошли в Чехословакию. Это была победа не только неосталинистов, но и национал-шовинистов. Именно летом 1968 года две эти группы почувствовали внутреннее родство и необходимость делового альянса.

Другое событие, ускорившее легализацию деятельности национал-шовинистов, — Шестидневная война 1967 года, когда Советский Союз занял откровенно антиизраильскую, антиссионистскую, а по сути — антисемитскую позицию, и пропагандистские услуги Русской партии оказались как нельзя кстати. Впрочем, зависимость здесь скорее обратная: именно антисемитизм был причиной того, что Советский Союз занял жесткую антиизраильскую позицию.

Антисемитизм — точка наиболее тесного сближения официальной и русофильской идеологий, вплоть до прямых совпадений, причем коренник в этой упряжке именно Русская партия. По ее предварительному, тщательно разработанному плану проводится сейчас государственная антисемитская кампания. По сравнению с русофильской, официальная пропаганда запаздывает на несколько лет, более сдержана и пользуется эвфемизмами: например, вместо "евреи" употребляет "сионисты". А ответственный аппаратчик на наш вопрос: как евреев называют в ЦК — евреи? сионисты? жида? — ответил: "они".

Они — значит: не мы. Они — то есть пятая колонна. Четкость почти как у Маркса, но на месте классов — нации: они и мы.

Напомним, все это происходит в многонациональной империи, где евреи — одно из многих меньшинств, причем благодаря эмиграции еврейский вопрос может быть разрешен бескровно, но как быть с грузинами или эстонцами, которые согласны эмигрировать, но только вместе со своей землей? Кто будет следующей мишенью великодержавной ксенофобии, и не станет ли слово "еврей" в русском языке обобщен-

ным именем любого нерусского, как прежде его называли "немцем", а еще раньше "татаринном"? И к каким конечным результатам приведет великодержавный русский национализм в стране, где наций не меньше, чем в ООН?

На начало семидесятых годов приходится рубеж в деятельности Русской партии — ее выход из подполья. То, что раньше публиковалось в нелегальном журнале "Вече" и за что его редактор Владимир Осипов до сих пор сидит в тюрьме, теперь безнаказанно печатается в центральных московских журналах и издательствах. В шестидесятые годы подпольно, в Самиздате, были изданы такие перлы антисемитской и фашистской литературы, как гитлеровская "Майн Кампф" и хрестоматийный фальсификат "Протоколы Сионских мудрецов". В семидесятые годы русофилам уже не от кого скрываться, необходимость в камуфляже отпадает, маска сброшена, условия их идеологического существования с каждым годом улучшаются. Уже нет нужды глубокой ночью печатать на ротаторе "Майн Кампф" Адольфа Гитлера, когда можно открыто сослаться на другой программный документ фашизма — "Миф XX века" Альфреда Розенберга ("Москва", 1976, № 3), либо процитировать фашистского теоретика Вернера Зомбарта ("Огонек", 1974, № 42). То, за что еще недавно преследовали, теперь вознаграждается. Так благополучно кончилась для российских шовинистов "проклятая пора эзоповских речей" (ленинское выражение) — она кончилась и для либералов, но для них одновременно с полной утратой дара речи. Советская власть допускает только ту оппозицию, которую рассматривает в качестве возможной наследницы.

Наиболее наглядно могущество Русской партии проявляется в ее печатной продукции — это как бы выход вершушки айсберга над поверхностью вод. Однако именно по этой восьмушке мы можем судить о величине его скрытой подводной части. Если прежде, по ленинскому определению, для захвата власти надо было оккупировать почту, телеграф и занять мосты, то теперь достаточно инфильтрировать в пропагандист-

ские органы — издательства, журналы, газеты. Естественно, что основателями Русской партии были в основном журналисты и литераторы (вспомним, что и Ленин на анкетный вопрос о профессии отвечал — "литератор"), то есть люди болтливые профессионально (в отличие от тех, кто профессионально молчалив и скрытен), люди, способные идеологически оформить политические лозунги в стране, где политическая деятельность запрещена.

Слабость нынешнего политического руководства и все большее усиление при нем аппарата КГБ, тесно связанного с Русской партией, порождает у последней надежды, что со смертью властолюбивой геронтократии пробьет ее час, и она, наконец, дорвется до власти. Подготовка в этом направлении проведена ею последовательно и добросовестно.

Мы предвидим возражения: националисты были в России и раньше, однако, до власти так и не дорвались. То было при иной политической раскладке, когда имела свободная конкуренция, и конкуренты у национал-шовинистов были сильные — а конкуренции они не выдерживали ни с кем: ни с кадетами, ни с эсерами, ни с большевиками. Сейчас русский националист один в чистом поле — политических конкурентов он лишен благодаря отсутствию в СССР свободы.

Русской партии не придется бороться за власть — с кем? Она сама упадет к ней в руки, как переспелое яблоко.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС: ОФИЦИАЛЫ И ОППОЗИЦИОНЕРЫ

Не так уж много, кстати, возможных вариантов будущего России, чтобы расчету предпочесть гадание по звездам и блуждание в потемках, как это часто делают американские советологи. Мы отвергаем либеральный вариант не только по причине отсутствия в России демократической традиции и реаль-

ных демократов, но и из-за невозможности сосуществования демократии и империи.

Демократия в России означала бы неизбежный распад империи на десятки мелких государств, а это невозможно без военного либо мистического вмешательства. Допущение демократии означало бы самороспуск империи, ее самоубийство. Любой реальный вариант будущего России должен непременно включать сохранение империи, иначе он будет отвергнут реальной Россией: ее традицией, ее военно-промышленным комплексом, ее бюрократическим и репрессальным аппаратом.

Таких вариантов три: имперско-социалистический, имперско-бюрократический и имперско-националистический. Путем исключения обнаружим наиболее вероятный из них. Тем более, три указанных варианта являются в то же время тремя этапами русского развития после революции 1917 года: прошлым, настоящим и будущим. Единственно, оговорим невозможность существования этих структур в чистом виде, их взаимопроникновение друг в друга и взаимодействие. Обозначая структуру одним из трех названий, мы делаем это по ее преимущественной окраске.

То, что социалистические семена не взошли на русской почве, но были заживо в ней похоронены — естественно: тенденции империи противоречат тенденциям социализма, хотя и не так резко и полюсно, как демократическим тенденциям. Ленин и Троцкий пытались превратить Российскую империю в Интернационал, но потерпели поражение.

В отличие от них, Сталин достиг того, чего хотел: восстановил Российскую империю в прежних границах и даже прихватил дополнительно куски распавшихся империй — Австро-Венгрии, Германии, Японии. Его героем был не Карл Маркс, но Иван Грозный — сын Востока, Сталин любил, чтобы его хвалили на эзоповом языке, с помощью исторических инсказаний (Сергей Эйзенштейн впал в немилость за то, что,

воспользовавшись древнерусским двойником Сталина, сказал в своем фильме правду об обоих). Неизвестно, до каких еще националистических оргазмов дошло бы дело, если бы Сталин вдруг не умер посреди своих дел, а с ним вместе и сталинизм — смесь имперского социализма с имперским национализмом. На глазах нашего, послесталинского поколения от коммунизма в России остались одни слова, в которые не верит ни народ, ни партия — она все еще называется Коммунистической, хотя после смерти Сталина окончательно превратилась в Бюрократическую, или *status quo* партию, как ее называет московский писатель Лев Копелев. Так социалистическая империя стала бюрократической.

Вполне вероятно было бы ее дальнейшее существование в этой испытанной другими народами форме, подобно Риму Флавиев или Австро-Венгрии, если бы не возникновение новых факторов, внутренних и внешних, угрожающих самому существованию империи.

Страх перед Китаем — одна из главных причин успеха русских идей и их превращения в государственные. Война с Китаем ощущается на самых разных уровнях советского общества и русского сознания как неизбежность — это одновременный жупел советской и русофильской пропаганды. Превентивный этот страх сравним разве что с чувством катастрофы во время Второй мировой войны.

Это важно подчеркнуть — антиеврейские и антикитайские тенденции. Идеологические споры были перекрыты национальными заботами, и на месте абстрактных идеологических противников оказались конкретные этнические. А учитывая многонациональный состав Советской империи, враги — отнюдь не только евреи и китайцы. Анекдот рассказывает о самом страшном сне, который приснился Брежневу: сидит чех на Красной площади и китайскими палочками ест еврейскую мацу. В этом анекдоте два постоянных героя, а один сменный, символический: чеха можно заменить поляком, немцем, литовцем, грузином, кем угодно из ближайших соседей — советизированных, но не русифицированных.

Компромисс между официалами и оппозиционерами мог возникнуть именно ввиду смертельной угрозы, которая нависла над Советской империей, воспринимаемая русскими националистами, как угроза государственному и национальному существованию страны. Исход борьбы между Коммунистической и Русской партиями, похоже, близится к бескровному концу — к компромиссу между двумя традициями — бюрократической и националистической.

Там, где можно было бы ожидать радикальный переворот, на самом деле происходит неуклонная эволюция, неизбежное превращение. Если это и можно сравнивать, то не с Овидиевыми, сказочными метаморфозами, а, скажем, с превращением гусеницы в бабочку: сейчас, похоже, стадия куколки. Русская партия не захватывает власть внезапно, как гром среди ясного неба, но становится властью, хотя особых изменений в правящей верхушке вроде бы не происходит. Русская партия становится не только властью, но и реальностью теперешней советской жизни, тотально проникая во все без исключения ее институты и уровни. Уже нет иных, противоположных тенденций в советском обществе, чья окраска бы резко отличалась от русофильской. Все принимает сейчас русофильский оттенок: КГБ, армия, бюрократическая элита, интеллигенция. Основной резервуар русофильских кадров в последние 15 лет — ЦК ВЛКСМ с его мощным и разветвленным бюрократическим аппаратом: перевалив за сорок, комсомольские "вожди" продолжают свою карьеру в ЦК и отделах партии, в министерствах, в КГБ — не без основания комсомольцев называют "сменой".

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

(из области кремлентологии)

Более чем явления русофильского эстаблишмента сейчас важны идеологические сдвиги в официальных советских верхах, о чем мы можем не только догадываться, но и судить по коренным изменениям во внешней и внутренней политике СССР.

Средний возраст члена Политбюро приближается к семидесяти годам — он был бы еще выше, кабы не самый его юный член 56-летний руководитель Ленинградской партийной организации Григорий Романов. Благодаря своему имени, он герой многих советских шуток — один анекдот предсказывает, что именно ему предстоит восстановить на престоле 300-летний царский дом Романовых.

Это все-таки вряд ли: мечта о сильной и твердой власти находит свое выражение скорее в сталинизме, чем в монархизме. И ленинградец Григорий Романов больше подходит на роль брежневского наследника и сталинского реставратора.

Как и Брежнев, Романов — мастер бюрократических интриг. Он также учел печальный опыт своего предшественника Василия Толстикова, который вел себя в Ленинграде с купеческим размахом — смесь восточного сатрапа с римским наместником. За что и поплатился своим постом и отправлен в почетную ссылку — послом в Китай.

Между прочим, после снятия Толстикова Ленинград долго оставался без партийного хозяина, пока из Москвы не приехал кадровый распределитель Михаил Сулов и не "привел к присяге" Григория Романова, сломав партийную иерархию и обойдя более вероятных кандидатов. Романов старается не выделяться — живет в скромной квартире, запретил журналистам упоминать его имя в отчетах об официальных церемониях, в которых по долгу службы принимает участие. Его скромность похожа, однако, на дальновидность. Он лоялен по отношению к Брежневу, но является двойной кратурой своего куратора Сулова и своего земляка Косыгина.

Поразительно, что памфлет, отпечатанный на ротаторе (с чьего разрешения?), подписанный "Русское либеральное движение" и широко сейчас распространяемый в обеих русских столицах, называет именно эту троицу — Косыгина, Сулова и Романова — единственными истинно русскими в Политбюро ЦК партии, насквозь контролируемом сионистами во главе с Брежневым.

О личной неприязни между Брежневым и Косыгиным ходят упорные слухи чуть ли не с того дня, когда они вдвоем

сменили Хрущева на обоих его постах — главы партии и правительства. Это в том числе стилистическое разногласие: Брежнев любит пышный церемониал, Косыгин предпочитает оставаться в тени. Когда он приезжает в Ленинград на могилу родителей, то пользуется одной машиной (хотя по чину ему полагается пять), а на кладбище отпускает охрану и остается один. Он на три года старше Брежнева, но, судя по виду, крепче здоровьем. Он не честолюбив — Романов для него не инструмент реванша, но, скорее, противовес брежневскому влиянию в Политбюро. Другой противовес, возможно самый сильный, — Председатель КГБ Юрий Андропов, который, как это ни парадоксально, слывет за "голубя" и интеллигента и будто бы даже предотвратил несколько жестких правительственных мероприятий.

КГБ вообще старается отмежеваться от некоторых непопулярных акций — в разговоре с одним из авторов этой статьи сотрудник КГБ Борис Чудинов воскликнул в ответ на критику в адрес КГБ: "Да разве это мы? Будь наша власть, все было бы иначе!" У нас нет иллюзий: было бы иначе — это не значит, было бы лучше.

Маловероятно, чтобы Председатель КГБ стал преемником Брежнева. Маловероятно, что им станет 71-летний министр обороны Устинов, или 75-летний Косыгин, или 77-летний Сулов. Но эти четверо составляют влиятельное ядро, противопоставленное брежневским сторонникам — среди них несомненно Кириленко и Черненко, возможно, Громыко. Двое первых сомнительны как преемники, ввиду их украинского происхождения и старости, а последний — ввиду локального характера его компетенции и ответственности. Выпадают из соревнования казах Кунаев, украинец Щербицкий и 80-летний эстонец Пельше: времена Интернационала, благодаря которому смог прийти к власти грузин Сталин, канули в Лету. Единственный Гришин, московский партийный секретарь, мог бы быть конкурентом Романову, но его почтенный возраст и давнее пребывание в Политбюро лишают его покровительства со стороны других членов. Таким образом, даже путем исключения мы неизбежно приходим к Григорию Романову,

как наиболее вероятному кандидату в преемники Брежнева на партийном его посту. (Государственный имеет сугубо церемониальный характер, и его может занять кто угодно.) Однако ведь и конкретный анализ приводит нас к той же фигуре.

Андропов, Устинов, Косыгин и Сулов — это не оппозиция Брежневу, но противовес влиянию его аппарата в ЦК. С точки зрения этих четырех, скромный, послушный Романов — самая подходящая для руководителя фигура. Одновременно на Романова делают ставки националисты и сталинисты, для которых глухой, неоднократно пуганный и насквозь контролируемый КГБ Ленинград — их главный оплот, тыл, пристанище оголтелой реакции и реваншистских амбиций. Высокие ленинградские чиновники считают своих московских коллег "испорченными либералами", а себя — настоящими патриотами. С помощью Романова они рассчитывают на реставрацию национал-шовинизма сталинского образца, чтобы противопоставить его Китайской опасности, детанту с Америкой, Пятой колонне внутри страны.

Скромный Романов, который служит козырем, как минимум, для двух группировок, скромнее только по необходимости и до поры до времени — в тихом омуте черти водятся.

Возможны ситуации, когда символы превращаются в живых людей, манекены оживают, а знаменосцы становятся полководцами. Кем станет Григорий Романов, когда придет к власти? Очевидно, что он не станет Брежневым и не останется Романовым. Очевидно, что ему не грозит стать либералом: ни по ситуации, ни по индивидуальным признакам — вряд ли он даже знает, что это такое. Зато похоже, что наследником Брежнева станет наследник Сталина.

(Из книги "Русские парадоксы", глава печатается с сокращениями) .



Автор предлагаемой статьи пытается дать сравнительную характеристику ведущих политических деятелей Израиля. С предлагаемым анализом, возможно, не все согласятся. Вместе с тем, он не может не вызвать интереса у читателей.

Профессор Ш. АРОНСОН

ЛИДЕРЫ И ПОЛИТИКА

БЕН-ГУРИОН

Принято считать, что Бен-Гурион был радикальным политиком, что он обладал решительным характером, был трезв и рационалистичен в своем подходе к политике. Это, однако, не значит, что он не был подвержен импульсам. Я бы сказал, наоборот, Бен-Гурион был чрезвычайно эмоционален, особенно, когда речь заходила о его отношении к еврейскому народу и к Израилю. Впрочем, он был эмоционален и в отношении себя самого, своих друзей и противников. И все же, справедливо назвать его человеком разума, неустанно стремившимся к изучению и исследованию истории и современности. Поэтому так часто говорят о присущей Бен-Гуриону страсти к познанию, о его уникальной дисциплине ума, основанной на этом качестве характера.

Я бы хотел теперь перечислить несколько принципов деятельности, если хотите, несколько постулатов, на которые обычно опирался Бен-Гурион. Начнем с того, что его всегда

волновала проблема Израиля и диаспоры. Бен-Гурион неизменно полагал, что у евреев в диаспоре, в сущности, нет будущего, именно здесь рождаются многие отрицательные черты еврейского национального характера. По его мнению, лишь возвращение в свою страну способно помочь еврейскому народу избавиться от пороков, виной которых является диаспора. Однако, эта трансформация еврейского характера не произойдет автоматически, в связи с этим Бен-Гурион придавал такое значение воспитанию, формированию еврейского национального характера, но уже не в диаспоре, а в условиях государства Израиль.

Бен-Гурион считал, что судьба еврейского народа, а впоследствии государства Израиль, зависит от личного участия каждого в его строительстве. В его глазах любой труд, и прежде всего в кибуцах, на фермах, на стройках,— представлял как моральный долг каждого. Бен-Гурион верил в способность и волю человека изменить облик страны, но для этого необходим базис, и таким базисом должна стать организация людей труда.

При всем этом Бен-Гурион был человеком прагматического склада, неизменно стремившимся согласовать свои действия с конкретной жизненной ситуацией, и эта его способность быстро принимать единственно верное решение — выделяла его среди всех политических лидеров Израиля.

С точки зрения Бен-Гуриона, было чрезвычайно важным улавливать "дух времени", и, как свидетельствуют современники, ему самому в огромной степени было присуще это уникальное чутье. На каких бы постах Бен-Гурион ни находился, он следил за всем, что происходит в мире, вокруг Израиля, при этом он видел действительность такой, какая она есть: что Израиль — это маленькая страна, и в силу этого она во многом зависит от внешних факторов.

Конечно, моральная поддержка извне в определенные эпохи приобретает решающее значение, однако высшей заботой остается накопление мощи самого государства. По мнению Бен-Гуриона, важно не то, что говорят неевреи, а то, что они делают, а это, в свою очередь, зависит от того, что делают сами евреи.

Неосведомленному человеку может показаться, что Бен-Гурион очень часто не был последовательным, но, в действительности, он лишь стремился неизменно улавливать все тот же "дух времени" и сообразно действовать. В середине тридцатых годов он был готов поддержать раздел Израиля, а после войны пойти на риск создания государства, и более того — на риск расширения его границ. Он действовал так, потому что в это время уже не было выбора, и его программа открывала перед страной новые перспективы. Но это, в свою очередь, не помешало ему проявить очередную "последовательность": в то время как левые, с которыми он сотрудничал, бескомпромиссно требовали полного мира с арабами, Бен-Гурион был готов удовлетвориться временным перемирием. В этом случае он был скептиком, не веря в возможность полного мира и лояльность со стороны арабов. И, с другой стороны, он действовал, чтобы выиграть время для строительства государства.

Возможно, Бен-Гурион в душе был за развитие военных успехов Израиля, которое было неизбежно связано с расширением власти над арабами. Но и здесь он оставался трезвым политиком и считал нереалистичным господство над слишком большим количеством арабов. И всю жизнь оставался верен этому принципу.

При всей своей способности принимать быстрые и судьбоносные решения, Бен-Гурион иногда был очень осторожным и даже, казалось бы, нерешительным. На самом же деле, это было нечто другое — он придерживался в своей политике своеобразного принципа "собираания сил". Силы эти ни в коем случае не должны подвергаться опасности без острой необходимости.

Бен-Гурион не строил никаких иллюзий в отношении галутных евреев. По его мнению, они были неустойчивы, нередко проявляли трусость, когда к этому не было должных оснований, и, наоборот, становились непомерно храбрыми, когда это не вызывалось необходимостью.

Еврейский народ, считал Бен-Гурион, остро нуждается в осознании своей исторической правоты и, с другой стороны,

в сильном руководстве. Для этого необходим образ сильного и справедливого Израиля, но этот образ слишком часто не совпадал с действительностью. И тут возникало реальное противоречие жизни. Выход Бен-Гурион видел в том, чтобы вселить в сердца евреев, ищущих личного благополучия, веру в свои силы, в свою историческую миссию.

В противоречие с внешним впечатлением, Бен-Гурион всегда придерживался оборонительной политики и отстаивал территориальный статус-кво. "Аберрация зрения" возникала из-за того, что эта политика как бы вступала в противоречие с самим образом Бен-Гуриона, который неизменно представлял в глазах израильского общества как сильный и мужественный вождь. На самом же деле, просто сложен, неоднозначен был характер Бен-Гуриона, который очень хорошо знал слабости еврейского народа и не мог их не учитывать в сложной обстановке Израиля. Настолько обманчив был образ Бен-Гуриона, что никто другой, как Бегин, пытался возвратить его к власти в 1967 году, надеясь что он начнет войну против Египта. Хотя правда и выглядела сомнительной, но заключалась она в том, что Бен-Гурион всю жизнь отказывался воевать в одиночестве (если не видел в этом необходимости), что он сомневался в силе израильской армии, что он не стремился к территориальным завоеваниям, что он не хотел властвовать над слишком большим количеством арабов... В это трудно поверить, но тем не менее это была правда.

МОШЕ ДАЯН И ГОЛДА МЕИР

Моше Даян и Голда Меир — лидеры реактивные, мужского типа. Это определение вряд ли можно считать исчерпывающим, но, пожалуй, в нем есть то главное, что отличает Моше Даяна и Голду Меир. Если для Бен-Гуриона определяющей является его страсть к познанию, то Даян и Меир, прежде всего, способны быстро реагировать на события. Источник их знаний — приобретаемый опыт. Их никак не назовешь людьми книги, и в этом их известное преимущество, и это же, пожалуй, объясняет недостатки их поведения и их политической деятельности.

Именно их опыт привел их к скептическому отношению и к природе человека вообще, и к арабу, как к врагу, в особенности. Их отношение к арабам проистекает из общения с ними в прошлом. Так, до 1971 года отношение Даяна к арабам основывалось на таких, например, постулатах. Он, прежде всего, рассматривал арабское население как единое целое. Он исходил из того, что арабы враждебно относятся к Израилю, и это враждебное отношение не трудно понять. Отсюда следует извлечь необходимые стратегические и политические выводы, лишённые всяких иллюзий. Эти выводы могут подвести к необходимости превентивной атаки, без помощи извне, и даже к изменению границ. Иначе говоря, Даян считал, что Израиль должен активно реагировать на агрессивность арабов, коренящуюся в самой их ментальности. Какого бы мнения ни были они о евреях, они должны научиться признавать суверенитет и права сильного Израиля.

Вопреки страхам Бен-Гуриона, видевшего в арабах мощную силу, Даян считал, что они не представляют собой опасность врага, по крайней мере, на данном историческом этапе — из-за их раздробленности и тяготения к фантастическим и несбыточным видениям, питающим их агрессивность. Накопленный опыт учит, что только еврейское господство над стратегическими территориями или — с точки зрения идеологической — над святой землей Эрец Исраэль реально обеспечивает права евреев.

Политика Меир и Даяна — это конгломерат различных принципов и столь же различного их толкования, которых придерживались оба политических деятеля в ожидании будущего. И именно это будущее, считали они, поможет понять, что такое позитивная действительность.

И Меир, и Даян считали, что силовой фактор — это продукт компромисса, переговоров и политического давления. Даян был готов удовлетвориться "сторонним", но важным влиянием в правительстве национального единства и в правительстве Голды Меир. Так же, как последняя была готова сотрудничать с Даяном, левыми социалистами из МАПАМа, религиозным МАФДАЛом и со всеми вместе взятыми.

Даян и Меир, безусловно, лидеры эмоциональные, готовые в любой момент реагировать на арабский вызов. Под влиянием эмоций они всегда были готовы противодействовать вмешательству великих держав, вести подчас очень горькие споры с Америкой. И это тогда, когда разумная политика диктовала необходимость считаться с влиянием этих держав.

Бен-Гурион придавал большое значение справедливости и моральному аспекту позиции Израиля в соответствии с "духом времени". В этом он видел путь к миру. Для Даяна и Меира так называемое мировое общественное мнение мало что значило, поскольку они считали, что те, кто решают судьбы мира, исходят из своих политических и экономических интересов. Единственно на что, по их мнению, можно было рассчитывать, — это еврейское влияние на американскую политику.

Справедливость и мораль означали для Даяна и Меира еврейскую справедливость, вытекающую из уроков прошлого, а изоляция Израиля отнюдь не диктовала политическую эластичность. Напротив, это был вызов, требующий твердой позиции, способности стоять на своем.

Известная тактическая гибкость (принятие инициативы Роджерса в 1970 году, прекращение огня в 1973 году, промежуточное соглашение с Египтом и Сирией в 1974 году) была проявлена лишь в расчете выиграть время без каких-либо территориальных или политических уступок.

Даян всегда стремился сохранить "открытые альтернативы", он не хочет, чтобы другие властвовали на Западном берегу Иордана и в секторе Газы, он не знает, что будет в будущем, но он твердо знает: пока что там должны селиться евреи. Может быть, в конце концов, не останется выхода, и придется оставить эти территории, полностью или частично, но задача израильской политики, насколько возможно избежать и затормозить этот процесс и ни в коем случае не принимать его как нечто неизбежное.

Власть над арабами Западного берега — это, может быть, и отрицательный фактор, даже большой недостаток, но он все же терпим, ибо, в конце концов, можно и отвлечься от поли-

тических прав арабов, которых у них нет даже в их собственных государствах.

Арабский суверенитет на Западном берегу Иордана — это угроза сердцу Израиля, и арабское господство над этими территориями, на которые распространяется историческое право Израиля, в силу идеологической и геостратегической логики Ближнего Востока, — невозможно.

Эта "логика", опять же, скорее основывается на личном опыте и эмпирических наблюдениях, чем на глубоком сравнении в широкой исторической перспективе. Но именно она, эта "логика", дает возможность резко менять тактические направления. Создается впечатление об отсутствии в политике последовательности, а иногда и просто оппортунизма. В результате, в обществе иногда пробуждается острое сомнение относительно мотивации таких людей, как Голда Меир и Моше Даян, особенно во время политического или военного поражения. Так, например, было во время войны Судного дня, или когда Даян стремится к миру с Египтом, не проявляя заботы о судьбе Иудеи и Самарии.

ЛЕВИ ЭШКОЛ И ПИНХАС САПИР

У Эшкола и Сапира есть много общего с Даяном и Голдой Меир. Все они выходцы из одной партии — МАПАЙ, не занимались интеллектуальными исследованиями — ни в юношеские годы, ни впоследствии, когда уже стали зрелыми политиками.

Леви Эшкола и Пинхаса Сапира называют мастерами компромисса. Впрочем, Бен-Гурион, Даян и Голда Меир были также способны торговаться и нередко шли на компромиссы. Но в жизни и политике Эшкола и Сапира компромисс играл доминирующую роль. И далее: им был присущ пессимизм в сочетании с презрением к природе человека, особенно к природе арабского врага. Вообще-то Эшкол и Сапир были человеколюбивы, особенно по отношению к евреям, хотя эта их любовь содержала примесь некоторого цинизма и скепсиса. Их отношение к прошлому, к истории, в сравнении с настоя-

щим, было простым и прозрачным. Настоящее — это данное, прошлое — это то, что было, а будущее — еще не совершилось. Их отношение к политическим реалиям вытекало из анализа настоящего. Настоящее — внутри Израиля, и оно состоит из сил, с которыми необходимо считаться на основе компромисса, выраженного в формуле: *Do ut des* ("Дай мне, и я дам тебе").

Правила этой игры были приобретены ими еще в юности, и они не подвергались ревизии в период их политического повзросления. Свое отношение к альтернативным действиям они всегда связывали с возможностью торга. Но когда убеждались, что эта возможность исчерпана, что "правил игры" больше не существует, они готовы были воспользоваться силой и действовать с большой решительностью. Но, повторяю, это было лишь тогда, когда перед ними оказывался противник, отказывающийся "играть".

Именно этим, пожалуй, объясняются колебания Леви Эшкола накануне Шестидневной войны и его большая решимость, после того, как он пришел к заключению, что жребий брошен. По-видимому, Эшкол согласился с рекомендацией Рабина провести всеобщую мобилизацию перед закрытием Тиранских проливов. Но вот что характерно, он видел в этой акции не более чем средство для торга: в результате устрашения египтяне отведут свои силы из Синая, а израильская армия получит возможность освободить резервистов. Однако этот торг — и Бен-Гурион это понял сразу — не возымел действия, потому что Насер вовсе не был готов отступить после израильской мобилизации. Наоборот, в ответ на эту "сионистскую провокацию" Насер закрыл проливы, и война стала неизбежной.

С другой стороны, Леви Эшколу удалось реализовать свою формулу *do ut des* в отношениях с президентом Джонсоном в период переоценки ценностей во внешней политике США. И это принесло внешнеполитический успех Израилю, но не спасло Эшкола от общественной катастрофы внутри страны.

Накануне Шестидневной войны Израиль нуждался в сильном вожде — не торгующемся, не поддающемся компромис-

сам — многие считали, что решимость Бен-Гуриона снова нужна стране. Эти многие, однако, не понимали, что Леви Эшкол, в конце концов, будет реагировать на нарушения арабами "правил игры" куда более агрессивно, чем допускала это решимость Бен-Гуриона.

Когда выяснилось, что Бен-Гурион стремится на данном этапе избежать войны, Даян, став министром обороны, заполнил вакуум, созданный самим Бен-Гурионом. Но впоследствии и внешнеполитическое положение страны, и внутреннее соотношение сил в рабочей партии снова продиктовали Эшколу линию на компромисс. И он, и Сапир пытались продолжить торговлю на внешнеполитической арене. Но безуспешно. Не принес результатов и внутренний компромисс, поскольку коалиционные партнеры МАПАЯ этот компромисс не могли принять. В ответ на притязания арабов, выдвинутые на Хартумской конференции в 1967 году, было принято решение сохранить гарантированные и согласованные границы, которые "не явятся границами 1967 года". Практически это означало, что правительство решило сохранить статус-кво из-за отсутствия всякой другой альтернативы, то есть приняло решение не принимать никакого решения.

МЕНАХЕМ БЕГИН

Изначальный опыт Менахема Бегина, по-видимому, был связан с миром правых в Европе после Первой мировой войны. Бегин родился в дни, когда вспыхнула война, и рос в обстановке тревог, еврейских и всеобщих треволнений. Похоже, что его еврейский национализм отражал страхи Европейской правой в целом. С другой стороны, чувство апокалиптической тревоги, характерное для правых в Европе и для еврейских ревизионистов еще до прихода Гитлера, создавало, как будто, общность Бегина с сионистской левой. В те дни и правые, и крайне левые жили предчувствием катастрофы. Существенная разница между ними заключалась в интенсивности этого предчувствия, в их отношении к будущему, к урокам прошлого, к путям реализации желаемой перспективы.

Различно было и их отношение к природе человека. Последователи Жаботинского и Бегина находили в еврее, каким он был, положительные черты, включая евреев галута, пытаясь придать им ореол величия. Вспомним, что Бен-Гурион стремился превратить евреев в новый народ, почти не находя у них положительных черт. Поэтому он постоянно создавал видимость, будто в Израиле они изменились, но в глубине души не полагался на них и старался избежать трудных ситуаций, опасаясь, что евреи не выстоят.

Что же характерно, прежде всего, для Бегина, как политика? Если обратиться к его работам и его многочисленным выступлениям, то нельзя не заметить, что он постоянно и неизменно говорит о п р а в е — и прежде всего, о праве Израиля на Эрец Исраэль, то есть на всю страну, включая и территории, заселенные арабами. Его принцип: "Если согласишься на часть, то потеряешь право на все". Можно, конечно, пойти и на компромисс, если не будет иного выхода, но он должен основываться на максимальных требованиях. Бегинская мысль неизменно вращается в кругу правовых и военно-политических расчетов, в противоположность идее Вейцмана: "Дунам и еще дунам".

Для Бегина основной политической базис — это народ, который обманут, вопреки своим здоровым национальным инстинктам, левыми, ведущими страну к несчастью и соглашательству.

Война на два фронта, которую вел возглавляемый Бегиним ЭЦЕЛ, Бен-Гуриону казалась опасной и преждевременной. Начиная с 1945 года, его интересовал только один фронт — арабы. Похоже, что Бегин, в своей правовой наивности, верил, что можно добиться коалиции с Бен-Гурионом, искал союза с ним, когда возглавлял еврейское подполье, и позже, в 1967 году, когда пытался вернуть Бен-Гуриона к власти. Бен-Гурион был готов к этой коалиции, но не для того, чтобы примириться с Бегиним, а чтобы подчинить его.

Бегин всегда придавал значение правовым обязательствам и со своей стороны неизменно старался выполнять их. Невыполнение обязательств англичанами или Бен-Гурионом он

рассматривал как предательство, в то время как для Бен-Гуриона превыше всего было не право, а "дух времени". В его глазах так же, как и в глазах Ленина, которого он когда-то идеализировал, тактика и стратегия были взаимно увязаны, и выбору момента он придавал решающее значение.

При определенных обстоятельствах правовой подход Бегина может оказаться плодотворным, скажем, как средство для того, чтобы выиграть время или построить дипломатический мост между Израилем и Египтом при решении судьбы Иудеи и Самарии. Но этот же подход способен сковать эластичность его позиции, ибо стоящие перед ним альтернативы всегда подвержены влиянию правовых принципов, а также воздействию коалиционных сил, с политикой которых он соглашается.

У многих возникает вопрос относительно коалиции Даян — Бегин. Способность Даяна быстро реагировать на ситуацию и готовность удовлетвориться сторонним, но важным влиянием, сделали его архитектором израильско-египетского соглашения. Урок войны Судного дня вызвал у него положительное отношение к визиту Садата в Израиль. Вместе с тем, ему, — прагматику и человеку компромиссов, стремящемуся к сохранению открытых возможностей на Западном берегу, — удалось найти практическое применение концепции Жаботинского об арабской автономии. Даян не мог не учитывать приверженности к правовым принципам главы правительства, политика, очень чувствительного к официальной позиции другой стороны. Поэтому он сделал все от него зависящее, чтобы заключить такой договор с Египтом, который даст возможность Бегину использовать любой из его параграфов, чтобы доказать, что документ этот ни в какой степени не решает судьбу Иудеи и Самарии. Другая возможность, "выстроенная" Данном, — это видеть в нарушении этого договора предательство, которое оправдывает продолжение господства и контроля над арабскими территориями. В случае необходимости это, естественно, оправдывает и использование силы на Западном берегу реки Иордан. Прин-

цип же Бен-Гуриона — отказ от господства над многочисленными арабами — по существу, предан забвению.

Тем не менее, Бегин и Даян отнюдь не заложили основы Палестинского государства, как это кажется некоторым. В конце концов, они нашли средство, как остаться в Иудее и Самарии надолго, воспользовавшись слабостью Египта и его готовностью к миру, основанному на правовых принципах, соответствующих мировоззрению Бегина. Впрочем, в этом правовом подходе заключена и своя опасность, ибо будущность соглашения основывается отнюдь не на одном праве, но зависит от эффективности египетских маневров, от позиций других арабских стран, от способности США оказать давление на Израиль.

Перевод из журнала "Мигван".

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



Виктор КОРИНОЙ

ШАХМАТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ

ОТ ЛЕГКОГО К ТРУДНОМУ

В 1965 году я стал членом КПСС, наивно полагая, что своим участием в делах партии сумею хоть что-то изменить в окружающей меня жизни. Кроме того, я считал, что отныне облегчу себе возможность выезда за границу.

В Гаване советская команда конкурировала с шахматистами США, которых возглавлял Фишер. Он, как известно, по религиозным соображениям не мог играть по пятницам и субботам, и американцы в случае важных матчей просили пойти им навстречу. Поединок с советскими шахматистами выпал на один из этих дней, но руководители команды СССР отказались пойти на какие-либо уступки. Ясно было, что без Фишера матч не состоится, однако он был назначен на обычное время, американцы на него не явились, и им было зачтено поражение со счетом 0 : 4. Назревал крупный скандал. Американские шахматисты первыми прорвали культурную блокаду Кубы, организованную правительством США, а вме-

сто благодарности с советской стороны их лишили возможности сыграть в нормальных условиях матч с главным конкурентом. Несколько раз мы обсуждали этот вопрос в своем кругу. Руководитель команды Серов во всем слушался Бондаревского, который, как я уже рассказывал, был вообще человеком не гибким. Мои неоднократные предложения пойти на уступки не вызывали энтузиазма. Общественная активность граждан слабо ценится в Союзе, и тут это еще раз наглядно проявилось. Таль, Штейн, Полугаевский, Спасский, Петросян молчали. В конце концов, инструкции пришли из Москвы — матч состоялся в отдельный, специально отведенный кубинцами день. Протекал поединок напряженно, закончившись с минимальным перевесом советской команды. На первой доске Спасский стоял очень плохо против Фишера, но ему удалось спастись. Боюсь, что Спасский не извлек должных выводов из этой партии. Чувствовалось, что Фишер вырастает в могучую силу. Наш же шахматист считал, что при своем искусстве защиты, умении навязать острую, интуитивную борьбу, ему некого бояться.

Вскоре должен был начаться межзональный турнир в Тунисе. Время от времени моя язва напоминала о себе. Очередной приступ начался у меня за две недели до поединков в Сусе. На строжайшей диете я полежал дома, бросил курить и приехал на турнир немного ослабевший.

В последние годы моим тренером был Фурман, но он в это время перенес тяжелую операцию желудка, и я взял в помощники Васюкова, человека прилежного и трудолюбивого. Но его шахматный репертуар диаметрально противоположен моему, и каждому из нас по ходу соревнования приходилось переучиваться при взаимной адаптации. Неудачно начал турнир, я снова потянулся к куреву. Все эти скачки плохо отражались на моей игре. Я плелся в 50% зоне. Где-то далеко впереди шел Фишер, который с блеском разгромил Решевского, Штейна и многих других гроссмейстеров. Моя партия с ним закончилась вничью после интересной борьбы, она была одной из последних, сыгранных им в турнире. До сих пор не могу понять, почему он вдруг выбыл из турнира — редчай-

ший в шахматной практике случай. Обычно "по болезни" это делают только аутсайдеры.

Разыгрался я, наконец, на финише. С минимальной долей пресловутого турнирного счастья я победил подряд Портиша, Барнаи, Билека, Мягмасурена и Куэллара. Помнится, разыграв дебют с Мягмасуреном, я удивился, как образцово разыгрывает он начало партии, и меня вдруг пронзила мысль, что он был подготовлен кем-то из советских. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. На каждом межзональном турнире много советских тренеров, "своей" работой они не слишком обременены. Мне было известно, что Гуфельд готовил Мягмасурена к партии с Фишером. Но догадка, что наши же могут коллективно бороться и против меня, казалась мне противостественной, пока я не столкнулся с этим за доской... В итоге я разделил 2—4 места с Геллером и Глигоричем, следом за Ларсеном — победителем турнира.

ЯРКИЙ ГОД

В начале 1968 года, вернувшись из Голландии с турнира в Вейк-ан-Зее, я начал готовиться к четверть-финальному матчу турнира претендентов против Решевского. До сих пор я сыграл с ним всего две партии, которые закончились мирно. Запомнился мне наш поединок в Буэнос Айресе в 1960 году. По просьбе Решевского, мы играли в пятницу утром, до захода солнца, что в условиях аргентинской зимы означало до двух часов дня. По ходу партии Решевский, игравший черными, получил перевес, и ровно в два часа он стал записывать ход. В позиции было два продолжения: одно выигрывало пешку, но у белых тогда появились шансы на спасение, другой ход не давал материального преимущества, но сохранял все выгоды позиции черных — он-то и был сильнейшим. Решевский волновался, все время посматривал на часы и через 13 минут ход был записан, но он не был лучшим. Мне удалось спасти партию. Как выяснилось позже, она была решающей в борьбе за первое место в турнире.

Готовясь к встрече с Решевским, я делал ставку на мою лучшую практическую подготовку, на лучшее знание современной теории дебютов. Я понимал, что встречаюсь с тонким стратегическим шахматистом, проникновение которого в нюансы шахматной игры, вероятно, превосходит мое. Мне следовало обуздать наступательный порыв Решевского в игре белыми. Вместе с тренером С. Фурманом я подготовил крепкую систему в игре черными и разработал несколько интересных идей.

Матч игрался в мае в Амстердаме. В сущности, борьба в этом поединке решилась в первых двух партиях. В первой, которую Решевский играл белыми, борьба сложилась в его пользу. В дебюте ему удалось переиграть меня, и он получил стратегически выигрышную позицию. Решевский, видимо, недооценил мои тактические способности, он играл слишком резко, допустил пару ошибок, и мне удалось спастись. Вторую партию я начал движением пешки с e2 на e4, что применяю довольно редко. Мне были известны первые 15 ходов, которые сделает Решевский, а дальше я заготовил интересное, новое в то время, продолжение. Эти 15 и даже 18 ходов я разыграл за полторы минуты, а Решевский, по привычке, да еще будучи недостаточно тренированным, затратил на них около часа. Надо сказать, что большая разница во времени весьма неприятна, действует на нервы отстающему. Действительно, Решевский заволновался, стал играть быстрее и, только-только выйдя из дебюта, "зевнул" пешку. Все стало ясно. Я и дальше шел с явным преимуществом и со счетом: 5,5 : 2,5 выиграл матч. Расстроенный Решевский даже не пришел на его закрытие.

Мне предстоял матч с Талем в Москве. Психологическая ситуация накануне нашей встречи была довольно сложной — я ведь выигрывал у Таля почти каждую партию, даже цвет в наших встречах не играл существенной роли. Я отдавал себе отчет в том, что, играя со мной в турнирах, Таль постоянно рискует, пытаясь расквитаться за нанесенные ему обиды. Было ясно, что тут он будет значительно осторожнее, ибо для него важен результат матча в целом, а не отдельные пар-

тии. Теоретически я был неплохо подготовлен к борьбе, но психологически, как сразу же выяснилось, я допустил ряд оплошностей. Таль начал со мной матч закрытыми дебютами, глубиной которых он не овладел. Зато характер игры был более спокойный, и, вероятно, Талю для начала хотелось сделать несколько ничьих, чтобы обрести уверенность в себе. В первой же партии я проявил непростительное пренебрежение к противнику и пошел на тяжелый пешечный эндшпиль. Удивительно, как Таль его не выиграл! Вторая партия быстро закончилась вничью — мой оппонент уверенно уравнивал игру.

Вскоре после третьей партии в Москву, как я узнал, приехал личный доктор Таля. Вообще Таль не совсем здоровый человек, но иметь шахматисту личного доктора, естественно, в Союзе не принято.

На четвертую партию Таль на несколько минут опоздал и, здороваясь со мной, так волновался, что никак не мог подать мне руку. Игра началась. Таль не разобрался в позиции, к тому же над каждым ходом он думал по 25-30 минут и вскоре уже был в цейтноте. Положение его было тяжелым. При первой же возможности я выиграл пешку, но почти утратив, как выяснилось, всякое преимущество. Назревала ничья, однако испытывая сильный недостаток во времени, Таль допустил грубую ошибку и проиграл.

Он решил отыграться сразу и следующий поединок начал своим коронным ходом e2—e4. В испанской партии он чуть промедлил с организацией нажима на позицию черных, мне удалось перехватить инициативу, быстро приведшую меня к победе. Казалось, матч уже закончен: внушительный перевес в счете, а очередную партию я играл белыми. Вспомнил, что Таль можно и должно дожимать в каждой схватке. Я получил преимущество в этой партии, но попал в цейтнот, дал своему противнику возможность жертвой качества перехватить инициативу и проиграл. Кстати, у меня во время матча было два тренера: Фурман и Оснос. Накануне шестой партии Фурман, который был членом общества ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), неожиданно был отозван в Ленинград для участия в незначительных командных сорев-

нованиях. Событие это взволновало меня, но реальных причин, почему кому-то вдруг понадобилось ослабить меня, я тогда понять не мог.

Проигрыш партии, отъезд главного помощника — все это поставило мой результат под угрозу, у меня появилось сомнение в конечном успехе. Я принял решение (может быть, и неправильное) идти в оставшихся партиях на ничьи, что вполне соответствовало моему растерянному состоянию в тот момент. Кроме того, я обратился с письмом в судейскую коллегия с просьбой пересадить доктора Таля, который сел совсем близко от сцены, в восьмой ряд. Дело в том, что доктор все время находился в зале и не сводил взора с доски, за которой мы играли. Правду сказать, мне он не мешал, но все время держал Таля в поле зрения. Я подозревал, что мой соперник накануне партии принимает наркотики, которые, как известно, понижают волю человека. Доктор, очевидно, оказывал визуальное воздействие на Таля, ободряя его. Сторона Таля — его помощники и он сам — были недовольны моей акцией, ведь с точки зрения правил ФИДЕ здесь ничего криминального нет. Судейская коллегия, однако, мою просьбу выполнила.

Седьмая и восьмая партии окончились ничейным результатом. Последнюю партию я играл белыми.

Талю нужна была только победа. Он применил острый вариант голландской защиты. В этой партии я был не на высоте. Белые обладали некоторым преимуществом, но я отклонял все сложные продолжения, стремясь по возможности быстрее упростить позицию (в этом-то и состоит психологическая уязвимость шахматиста, вынужденного бороться за полочка, особенно, если он привык играть на выигрыш). Ходу к 25-му у меня уже была стратегически проигранная позиция. В обоюдном цейтноте Таль оказался недостаточно энергичен, без всяких оснований он пожертвовал пешку и дал мне кое-какие шансы на спасение. Все еще в трудном положении я записал секретный ход, как позже выяснилось, неожиданный для Таля. Он, правда, уверял потом, что при лучшем записанном ходе у него не было шансов на победу. Отложен-

ную позицию я проанализировал обстоятельно. Партнеры провели бессонную ночь, проверяя многочисленные варианты, а на следующий день состоялось напряженное, волнующее доигрывание. Мой анализ был глубже. После трех часов игры мы подписали мирное соглашение. Таким образом, я вышел в финал претендентского цикла.

Сразу после матча я дал интервью газете "Шахматная Москва". Недовольный творческими показателями, я без одобрения отозвался и о своем противнике, назвав его шахматистом "большого шаблона". Для такой оценки у меня лично были основания, тем более, что я подметил схематичность атак Таля еще в 1957 году. Болельщиков у него было и остается очень много. Его бескомпромиссная игра радует любителей шахмат. Желание и умение Таля рисковать и даже блефовать подкупают. В то же время искусство ведения игры у него недостаточно отшлифовано, оно основано на трафаретных оценках и приемах. Подлинными мастерами атаки я считаю Алехина, Кереса, Спасского. С последним мне вскоре предстояло сразиться.

Фурман готовил меня к финалу, но оказалось, что он не может поехать со мной в Киев, где предстояло играть матч. Его не отпускало начальство ЦСКА. Я так и не мог понять, откуда ветер дует, нелепость ситуации была очевидна, но мы были бессильны. Я злился на Спасского, считая это одной из проделок Бондаревского, его тренера, но ни Спасский, ни его наставник, как выяснилось позже, не имели к этому абсолютно никакого отношения. Все было делом рук Петросяна. Чемпион мира, выиграв у Спасского в 1966 году, не боялся его, зато ему было неприятно играть со мной. Чтобы полностью нейтрализовать меня, он через своих армянских друзей, используя, в частности, даже престарелого маршала Баграмяна, сумел оказать давление на ЦСКА. Сначала Фурман был удален во время моей встречи с Талем, затем ему было запрещено сопровождать меня на финальный матч. Конечно, свет клином на Фурмане не сошелся, я вскоре успешно играл и без него, и даже против него, но в тот момент это было для меня крайне неприятно. Матч со Спасским я начинал в подав-

ленном состоянии, и даже мое превосходство в теоретической подготовке не могло уравнивать шансы в этом поединке. К тому же, из-за стечения обстоятельств, обернувшихся против меня, я очень плохо играл вторую партию (первая закончилась вничью). Вообще я не склонен объяснять свои шахматные неудачи внешними факторами, но это был исключительный, из ряда вон выходящий случай. Обычно я ничего не замечаю во время партии, тем более, что слух у меня притуплён. Тут же я почувствовал, что здание буквально сотрясается. В Киеве в 1960 году был оползень, погиб целый квартал на берегу Днепра, и я думал, не землетрясение ли это. Волнение охватило меня, и грубыми ошибками я проиграл равную позицию в считанное количество ходов. Сдав партию, я встал и спросил, что же происходит. "Салют, — ответили мне, — День танкиста". Пальба из нескольких сот артиллерийских орудий продолжалась 40 минут!

Третья партия, которую я играл черными, закончилась вничью, хотя Спасскому пришлось приложить немало стараний, дабы нейтрализовать мой "пространственный перевес." В четвертой же он черными полностью переиграл меня. Добившись совершенно выигрышной позиции, Спасский не спешил с переходом к решительным операциям, стремясь отложить партию и в тиши домашнего анализа найти наиболее эффективный путь к победе. Однако при этом он утратил бдительность и просмотрел сильнейший контрудар. К несчастью, и я не сразу его заметил и, только сделав ход, увидел и чуть не заплакал от обиды. Партия была отложена, и Спасский, продемонстрировав высокую технику, довел поединок до победного конца. Вничью закончилась пятая партия. На следующий день я решил попробовать изменить ход матча. С этой целью я подготовил интересное продолжение в ферзевом гамбите, связанное с длинной рокировкой. Спасский вообще тонко чувствует переломные моменты в ходе сражения. Продумав более сорока минут над ходом, он нашел очень красивую идею — пожертвовал мне фигуру, которую я должен был брать, в результате чего мой король оказался под сильнейшей атакой. Тонко, неторопливо Спасский развивал наступление.

Как я ни старался, серьезной контригры мне создать не удалось. Фигуру пришлось отдать, но атака соперника не прекращалась. К нам обоим подкрался страшный цейтнот, и вот тут-то, наконец, Спасский дрогнул, пропустив сильнейший тактический удар. Когда миновал угар цейтнота, у белых оказалось внушительное материальное преимущество, достаточное для победы.

Мне казалось, что в матче, наконец-то, наметился решительный психологический перелом. В прошлом Спасский тяжело переносил поражения, и я решил во что бы то ни стало навязать ему штыковой бой. На самом деле я представлял себе возникшую ситуацию, как в кривом зеркале. Спасский в то время был уже куда более закаленным бойцом, чем 10 лет назад, я же нервничал, спешил нивелировать его перевес в счете. Желание взять противника "на абордаж" было для меня роковым. На ход Спасского 1. d2—d4, который он применяет довольно редко, я избрал староиндийскую защиту, вызвав удивление своих помощников, так как это построение применяется преимущественно против слабых партнеров. В этой партии Спасский был великолепен. В системе Земиша он продемонстрировал интересную новинку, я же не разобрался в позиции. Спасский получил атаку в центре и на королевском фланге и закончил партию матом.

Победа Спасского в матче была уже близка. Совсем расклеенный я приступил к следующей партии, не уловил момента, когда Спасский перехватил инициативу, и вскоре должен был сложить оружие. В девятой партии мне удалось немного поволновать противника и его тренера, который уже купил билет, собираясь домой. Отбиваясь от моего позиционного нажима, Спасский был вынужден пожертвовать качеством, а тренер — вернуть билет в кассу. Но все для них обошлось благополучно — компенсация за пожертвованный материал оказалась достаточной, и при доигрывании Спасский сделал ничью. Так же, но при преимуществе соперника закончилась и последняя, десятая партия. Общий счет матча оказался 6,5 на 3,5 в пользу моего противника. Это был разгром, и в интервью, которое давал Спасский, чувствова-

лось, что и сам он немножко удивлен, как это ему с такой легкостью удалось выиграть финальный матч.

НОВЫЙ ТРЕНЕР И НОВЫЕ МАТЧИ

Свою подготовку к очередному чемпионату СССР я начал с новым тренером. Мой прошлый помощник Фурман в то время уже целиком ушел в работу с молодым дарованием — Карповым. Моим тренером стал ленинградский мастер Г. Сосонко. Не будучи шахматистом-практиком, как тренер он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Высоко отзывался о его тренерских качествах Таль. Кстати, Сосонко помогал Талю во время моего с ним матча. Во Дворце пионеров Ленинграда, где работал Сосонко, о его тренерстве ходили легенды. Он был способен угадать ход борьбы почти на каждой доске в командных соревнованиях, и потому его советы ребятам были исключительно ценны. Мой выбор тренера был правильным. Чемпионат СССР начался для меня без большого блеска, на старте я уступил Тукмакову, но это оказалось моим единственным поражением от молодых шахматистов, да и вообще за весь турнир.

Между тем, приближался очередной турнир претендентов. В первом матче мне предстояло встретиться с Геллером. Молодой гроссмейстер Карпов предложил мне свои услуги — сыграть тренировочный матч. Его мы засекретили, тем более что Карпов и Геллер были членами одного и того же спортивного общества. Можно понять и Карпова: он надеялся извлечь и, я думаю, извлек немало пользы из встречи со мной. Арена борьбы была в доме у Карпова. Я сыграл 5 партий черными и одну белыми. Если бы позднее, накануне матча со мной, Карпов не предложил английскому издательству партии, выигранные им у меня в этом тренировочном матче, я, вероятно, и сейчас не стал бы рассказывать об этом поединке. Перед каждой партией я предупреждал Карпова: "новый дебют — собираюсь играть", чтобы он подготовился к нему. Дебютная эрудиция Карпова тогда хромала, а мне хотелось, чтобы партии были полноценными от начала до конца. В этом матче Карпов вел

со счетом 2 : 0 при одной ничьей. Потом он немножко расслабился, и я сравнял счет. Одна из партий, выигранная Карповым в матче (французская защита), была в числе лучших в его жизни.

Матч с Геллером я выиграл со счетом 5,5 : 2,5.

В это же время другой четверть-финальный матч закончился сенсационно: с сухим счетом 6 : 0 Фишер разгромил Тайманова. Накануне матча советский гроссмейстер хвастался, обещал обыграть американца. Его основной аргумент был таков: "Фишер играет, как машина, да он, в сущности, и есть машина. А я человек! Еще никогда компьютер не выигрывал у гроссмейстера, поэтому я верю в свой успех!" С такими заявлениями Тайманов не раз выступал на лекциях и в прессе. Справедливости ради отметим, что центральная печать, из осторожности, такие заявления не публиковала.

После разгрома Тайманова следовало наказать, при том сурово. Обычно шахматистов при пересечении границы на таможне не проверяют. На этот раз традиция была нарушена, и Тайманова попросили открыть багаж для досмотра. Нашли книгу Солженицына, которую Тайманов вез из Канады. Накануне его приезда был также перехвачен международный телефонный разговор, из которого следовало, что он везет деньги для передачи Флору от Эйве. Валюта не была предъявлена на границе, и Тайманов был в этом уличен.

Был опубликован проект приказа Комитета спорта, что за нарушение правил путешествия советских граждан за границу Тайманов лишается звания заслуженного мастера спорта СССР и исключается из сборной команды страны. Проект этот дали прочесть остальным гроссмейстерам в назидание, и мы все расписались под ним в знак того, что урок усвоен.

А между тем, время все-таки работало на Тайманова, потому что... Ларсен успел проиграть Фишеру три партии! После этого Тайманов был уж не так виновен. Приказ все же был издан, но Тайманов был оставлен в сборной страны и, таким образом, сохранил ежемесячную зарплату.

В родном его Ленинграде суровое партийное руководство приняло, однако, свои меры. Тайманов — баловень судьбы,

душа общества, неплохой журналист и комментатор, был лишен аудитории — ему запретили выступать. Он стал персоной нон-грата, его избегали, как чумы. Жизнерадостная улыбка надолго сошла с его лица. Быть изгоем в обществе для него стало невыносимым. К тому же он решился на новое "преступление".

После 26-ти лет семейной жизни он ушел от жены, связал свою жизнь с другой женщиной. Ему это было тем более трудно, поскольку покинутая жена была его партнером в игре на фортепьяно в четыре руки, и, уходя от нее, он терял львиную часть своих доходов. Бывшая жена оказалась женщиной с характером и достаточно подлым. Она отправилась жаловаться на поведение Тайманова в руководящие партийные органы Ленинграда. Возмездие не заставило себя долго ждать. Тайманова, наконец, исключили из сборной СССР и лишили зарплаты шахматного профессионала. История очень характерна для советской действительности — если уж бьют, то все вместе!

Вернемся, однако, к матчам претендентов. Теперь мне предстояло играть с коварным Петросяном.

Шахматисты — сложные человеческие машины. Одним, чтобы быть уверенным в успехе, необходимо видеть в партнере приятеля, другим же — нужно обязательно злиться на соперника, и по ходу матча они не желают иметь с ним никаких отношений. К числу первых относятся Спасский, Бронштейн, по-видимому, Портиш. Вторых — значительно больше, и, нужно признаться, сам автор среди них. Но совершенно исключительное положение занимает Петросян. Он обязательно должен быть в хороших отношениях с противником, но это только для виду, для того, чтобы разоружить его. На самом же деле, Петросян — явный представитель второй группы шахматистов, только — с отменной долей коварства...

К сожалению, я был психологически слабо подготовлен к матчу. При переговорах о его проведении я шел на поводу у Петросяна, принимая его условия. С чисто шахматной точки зрения я был вооружен "до зубов".

Мои новинки, подготовленные против Петросяна, позднее прошли проверку и удостоились одобрения мастеров между-

народных соревнований. Особенно гордился я тем, что в изъезженном варианте, игранном тысячи раз, мне удалось придумать новую идею уже на четвертом ходу. Партнер же мой, будучи ленивым, этими "глупостями" не занимался, накапливая в течение месяца энергию. Скука властвовала в матче. Мы сделали подряд восемь ничьих. Во второй партии я стоял очень сильно, но играл ее бездарно, слабо. Близок к выигрышу был и в четвертой партии, но хитроумный Петросян сумел спасти безнадежную позицию. Это был переломный момент. В шестой партии, играя белыми, я едва спасся, в восьмой же опять игра у меня не получилась, встреча быстро закончилась вничью. В народе шутили, что никто из нас не хочет выигрывать матч, не желая встретиться с Фишером; другие уверяли, что в Комитете спорта еще не решили, кого направить на матч с американцем. На Западе многие думали точно так же, не в силах поверить, что матч-то играется всерьез. И только те, кто знал меня хорошо, понимали, что я очень стараюсь, но не получается. Огорчению моему не было предела, когда в азарте борьбы я зарвался и проиграл отличную по дебюту девятую партию. Больно, но Петросяну, думаю, через два месяца было еще хуже, когда аналогичную позицию он проиграл в партии, ставшей поворотной в его матче с Фишером. Наша последняя партия закончилась вничью, и Петросян вышел в финал.

Перед матчем с Фишером Петросян уговорил меня принять участие в его подготовке к этой ответственной встрече. В течение двух недель я посещал его шикарную подмосковную виллу. Перед отъездом в Буэнос-Айрес Петросян настаивал на том, чтобы я сопровождал его. Вопрос разбирался в Комитете спорта. Свой отказ поехать с ним я аргументировал тем, что являюсь участником этого турнира претендентов, и мне незачем быть тренером. И только в случае согласия Фишера я готов пойти на это. Кроме того, я подчеркивал, что мне не всегда приятно смотреть на пассивную игру Петросяна, а тем более нести за нее ответственность. В высших инстанциях не настаивали, видимо, понимая, что Петросяну против Фишера и сам черт не поможет. После возвращения

Петросян утверждал, что, будь я с ним, он бы победил. Тоже мне удовольствие! В аргентинской столице жена Петросяна награждала Суэтина оплеухами за плохой анализ шестой партии.

Петросян был подготовлен к матчу неплохо, а толку-то что? Чувствовалось, что страх полностью сковал его. Играть с максимальной отдачей каждый день он не любит, да и не может, а Фишер, как никто другой, умеет навязать партнеру борьбу. Одну бескровную ничью Петросян, правда, сумел вымолить, но и только. Измотанный ежедневными схватками, он, под занавес, проиграл Фишеру четыре партии подряд.

Оправдывая свою неудачу, Петросян после матча в "64" писал, что в начале-де он играл хорошо, а потом с ним произошло что-то непонятное, не поддающееся объяснению. Он жаловался, что его, якобы, пытались в отеле отравить, что Фишер организовал взрыв в зале, чтобы вывести его из себя.

БУНТ

Очередное командное первенство Европы на сей раз проходило в Бате. Еще до выезда стало известно, что на время соревнования нам будут предоставлены комнаты на двоих. В качестве своего "товарища по комнате" я выбрал Штейна. Утром, когда садились в автобусы, чтобы ехать в аэропорт, хватились, что Штейна нет. В комнате отеля "Россия" его нашли мертвым. Сердечный приступ — профессиональная болезнь шахматиста. Глубоко заблуждаются те, кто думает, что в шахматы играть легко, что они не изматывают. Это далеко не так. С одной стороны, шахматист в борьбе — клубок нервов; с другой, он постоянно должен быть невозмутим и тверд, как скала. Так было со Штейном. В свободное от шахмат время он совершенно раскрепощался, давая выход своему возбужденному состоянию.

На сей раз командный турнир не привлекал меня, я был удручен смертью Штейна, с которым меня многое связывало, пришла предательская усталость, да и обстановка в нашей группе была необычная. С нами впервые за многие годы

поехали не тренеры, а четыре соглядатая (среди них и Антошин). Эти "няньки" внимательно следили за нашим времяпрепровождением, вмешивались в наш режим, старались собрать побольше материала о наших взаимоотношениях между собой. "Четверка первачей" меня крайне раздражала. Я искал случая расквитаться с ними за их назойливую опеку. И скоро такой случай представился. Надо сказать, что этот турнир, как обычно, окончился победой советской команды, а в заключение мы провели несколько сеансов одновременной игры в Англии. А затем — Москва, встреча с начальством...

Обычно, когда команда возвращается из заграничной поездки, ее собирают в Комитете спорта СССР для отчета. Говорит руководитель группы — оценивает результаты, не забывая о поведении участников. Потом говорит начальство. Процедура до одури нудная, повторяемая из года в год. И этот раз не был исключением из правила. После всяких похвальных слов всяких начальников раздался вопрос: "Кто что может еще добавить?" Я и "добавил" давно подготовленную речь. Я сказал, что шахматистам, людям, изъездившим весь свет, нужно доверять или не посылать их вообще никуда. С какой целью нас сопровождали четыре человека? Практически они были только помехой, а когда в них появлялась нужда, то их, как правило, нельзя было найти. Представьте себе мое положение: даю я позавчера сеанс в лондонском Сити, в одном из банков. В разгар сражения ко мне подходит человек и говорит по-английски: "Я не хочу мешать вашему занятию, но я прошу вас передать этот документ советскому послу. Свободу советским евреям-заключенным!" — вскричал он напоследок. (Прошу прощения у неизвестного борца за демократические свободы. Документ этот мне понадобился в Москве.) "А где же были эти четверо? — с пафосом продолжал я. — Кто должен был защитить меня и дать тому человеку достойную отповедь?" Все это говорил я очень серьезно, а по сути, глумился над ними. С точки зрения начальства, агенты допустили ошибку, но мне — зачем мне нужна была эта опека?! Переполюх в Комитете был немалый. Английский документ был у меня немедленно отобран как вещест-

венное доказательство случившегося. Я позволил себе выступить с критикой начальства в стране так называемого "демократического централизма". Тогда об этом временно позабыли: своей игрой на межзональном турнире я доказал, что являюсь одним из реальных претендентов на мировое первенство, меня пока нужно было терпеть. Потом, когда наступил час расплаты, мне припомнили и это мое выступление...

Осень ознаменовалась "конструктивными" реформами. Чемпионат СССР стали проводить в двух группах — в первой и высшей лиге, как их теперь называют. Это "новаторство" проводилось якобы с целью оживить шахматную жизнь страны, а также привлечь к участию в турнире всех именитых гроссмейстеров без исключения (отметим, что призы, между тем, оставались прежние). В своей жизни я не помню более сильного турнира.

Каисса забыла о своих шутках, борьба шла не на жизнь, а на смерть, бесцветных ничьих почти не было. Регламент был жестоким — половина участников турнира выбывала в первую лигу. Недовольные этим условием гроссмейстеры написали коллективное письмо председателю Комитета спорта СССР.

И по сей день турнир этот вспоминается мне, как страшный кошмар. Можно было играть десятки встреч и ждать понапрасну мига удачи, борясь за победу в каждой партии и не выигрывая. Через это испытание прошли и Смыслов, и Керес, и Таль, которые весь турнир провели в минусовой зоне. Мне же повезло. В середине турнира я выиграл три партии подряд: у Рашковского, Смылова, Савона. Потом, однако, как я ни старался, мне так и не удалось развить свой успех. В итоге я разделил второе место с Карповым, Полугаевским, Петросяном, Кузьминым. Подлинным же героем этой страшной баталии был Спасский. Он захватил лидерство, выиграв несколько полноценных партий, и уверенно занял первое место, на очко обойдя преследовавшую его группу. Партия с ним в одном из последних туров надолго запомнилась мне. Интерес к турниру был огромный, зал был набит до отказа, а играли мы все в том же самом зале, где я впервые выступил

в чемпионате в 1952 году. Теперь уже не было громадного портрета Сталина, техника ушла вперед, в Москве появились современные здания, да и мы уже были не юноши, готовые играть в любой хибарке. Страна гордится своими традициями, и мы играли в стареньком зале. Громадная толпа гудела невообразимо, и я, обычно нечувствительный к шуму, понял, что не могу играть дальше в такой обстановке, в условиях надвигающегося цейтнота. Тогда, собравшись с духом, я крикнул в ревущий зал: "Да перестаньте галдеть!" На минуту все стихло. Я сделал ход, как выяснилось впоследствии, упустивший преимущество, и предложил мир. Мой партнер понимал, в каком возбужденном состоянии я нахожусь, но по позиции у него не было объективных оснований отказываться от ничьей. После небольшого раздумья Спасский принял мое предложение.

Как я говорил, Спасский выиграл турнир. Его карьера, почти столь же продолжительна, как и моя, но по напряженности, богатству событий значительно превосходит мой путь. Будучи свидетелем, по существу, всей жизни Спасского, могу уверенно сказать, что я не знаю человека более способного к самосовершенствованию, чем он. Им пройдена тернистая дорога. Спотыкаясь и падая, вновь подымаясь, он добрался до Олимпа — до звания чемпиона мира. Потом с честью, в борьбе, он уступил трон сильнейшему. Как личность — Спасский тоже шел извилистым, крутым путем. Попадая под влияние отдельных лиц, перерастая их, он из рядового члена советского общества — безликого, нерассуждающего, покорного — постепенно превратился в инакомыслящего.

Будучи чемпионом мира, Спасский вел себя в политическом смысле довольно независимо. Известен случай, когда он отказался подписать коллективное воззвание за освобождение Анджелы Дэвис. Смело, проявляя свободомыслие, выступал он с лекциями. Хоть они-то были на шахматную тему, но ведь в Советском Союзе все связано с политикой. Однажды на лекции в Новосибирске у Спасского спросили, почему Керес так никогда и не стал чемпионом мира. Тысячной аудитории он ответил: "У Кереса, как у его страны, трагическая

судьба!" Напомню читателю, что речь шла об Эстонии, насильственно присоединенной к СССР в 1940 году.

Вся "ересь" прощалась чемпиону мира. Но когда он остутился — проиграл матч Фишеру — ему припомнили все его грехи. Власти подбирались к нему постепенно. Но по-настоящему силу мести советской власти он почувствовал в 1975 году, когда сама его жизнь находилась в опасности. Как никогда, Спасскому нужна была победа в турнире. Он играл с большой энергией, силой воли добился цели, в который раз уже продемонстрировав свой незаурядный талант.

МАТЧ С МЕКИНГОМ

В конце 1973 года мне удалось организовать себе одно интересное соревнование. Редкий случай, когда в советских условиях не запланированное заранее мероприятие могло быть проведено, тем более за границей. Это свидетельствовало о моей значимости в тот момент для советских шахмат и их руководства.

Итак, в декабре 1973 года я выехал в ФРГ, где сыграл матч из 8 партий с Хюбнером. После этого у меня было всего лишь несколько дней передышки перед матчем с Мекингом в США, в штате Джорджия. О том, что мой противник сильный шахматист, мне напоминать не нужно было: недаром в Бразилии его называют "шахматный Пеле", и что более важно — победитель межзонального турнира не может быть слабым. Мой личный счет с Мекингом к тому времени был 1 : 1 (при двух ничьих). Хотя бы уже поэтому на легкую победу я не рассчитывал. И то, что написал Петросян в "64" после Сан-Антонио: "Мекинг никогда не будет играть хорошо, потому что он не понимает некоторых элементарнейших вещей в шахматах и никогда их не поймет", — было просто нелепо, — оказалось, что Петросян уже успел поругаться с Мекингом...

По собственной инициативе, я попросил дать мне руководителя делегации. Рассуждал я так: "В свое время Спасского ругали за то, что он отказался взять в свою группу

руководителя, отправляясь на матч в Рейкьявик. Потом это сочли одной из причин его поражения с Фишером. Геллер, названный руководителем, не смог правильно решить ряд сложных юридических проблем, которые возникли по ходу борьбы. Уверен ли я, что выиграю матч? Конечно, нет. Так пусть в случае моей неудачи доля вины падет на плечи руководителя!"

Мое пожелание было удовлетворено, и даже больше: в Америку мы отправились четвером: руководитель делегации, работник партаппарата Ленинграда, с которым я, в сущности, познакомился на вокзале, тренер Оснос, я и моя жена. Напоминаю — поездка с женой за границу — событие исключительное! В городе Августе нас встретили радушно, гостеприимно. Газеты проявляли живой интерес к матчу. В своих высказываниях я был осторожен, жаловался на возраст. Писали обо мне сочувственно: "42-летний ветеран уже по началу матча испытывает трудности". Мекинг тоже был не очень словоохотлив, реклама ему сейчас была ни к чему, а что я не подарок, он отлично понимал. В шахматном мире о нем сложилось плохое мнение. Называли его одним из трех "плохих мальчиков" — Фишер, Браун, Мекинг. По отношению к себе ни об одном из них я ничего плохого сказать не могу. Ко мне Мекинг относился предельно уважительно, чувствовалось его желание вести себя как можно лучше. Если иногда это не получалось, я понимал, что это не нарочно. Он достаточно нервничал, ему мешал шум в отдаленных комнатах, во время одной из последних партий он показал мне знаками, что ему мешает даже мое громкое дыхание. Но обижаться на это было бы глупо. На сцене он появлялся в ти-шет, на которой было написано: "Пейте бразильский кофе", что меня несколько шокировало, поскольку для меня любое шахматное мероприятие, особенно с участием публики, — праздник или спектакль, где я один из главных актеров. Это создает настроение для меня самого и зрителей, даже если они не шахматисты, они все равно проникаются значительностью момента. Вероятно, такое понимание приходит с возрастом...

Трудным оказался этот матч. Уже в первой партии Мекинг

за доской опроверг одно из подготовленных мною дебютных построений. Возникла позиция примерного равновесия, но у Мекинга был сильный цейтнот, и в поисках путей усиления своих фортификаций я неправильно пожертвовал пешку. Мой дар Мекинг принял, с цейтнотом справился, а когда партия была отложена, я убедился, что радостного она мне сулит очень мало. Как я ни искал спасения, найти его не смог. Тренер мой успокаивал меня тем, что на пути Мекинга еще немало технических трудностей, а он молодой шахматист и скорее всего не сумеет досконально проанализировать позицию. Доигрывание я провел как ни в чем не бывало, спокойно и уверенно. Оснос оказался прав: анализ Мекинга был слабоват, мой же уверенный вид и легкая, почти без обдумывания игра крайне смущали его. После ряда ошибок, допущенных Мекингом, я спасся. Доигрывание этой партии навело моего противника на мысль, что в анализе помогла мне Москва и именно оттуда по телефону меня снабдили необходимыми инструкциями. Об этом абсурде он заявил в печати, что, естественно, меня обидело. Возможно, в тот момент он не понимал, что класс нашего с Осносом анализа оказался намного выше, чем его с Андерсоном. Первые четыре партии закончились вничью, а пятую же Мекинг позволил играть в день своего рождения. Имея хорошую позицию, он попал в цейтнот и проиграл грубыми ошибками сначала лучшую, а затем равную позицию. Вообще, в день своего рождения шахматисты боятся играть, и дело здесь не столько в суеверии и даже не в теории цикла человеческой деятельности, довольно популярной сейчас. Объяснение тому гораздо проще: у шахматиста в этот день праздничное настроение, но далеко не по поводу встречи за доской; настроиться же на игру, на борьбу он подсознательно не способен.

Без особых приключений закончилась миром шестая партия. Седьмую партию, правда, в результате жестокой борьбы, я выиграл.

Матч, казалось, был решен. Ведь игра шла до трех побед при максимальном ограничении числа партий — 16. Мекинг был ошеломлен, сломлен, мне оставалось выиграть еще од-

ну партию, но это было очень трудно и никак не удавалось. Близок к своей цели я был в восьмой партии, однако, с лишней пешкой легкомысленно провел техническую часть. В напряженной девятой в конце концов я получил перевес, который свелся к эндшпилю "ладья и слон против ладьи" в чистом поле, который Мекинг аккуратно свел на ничью. Так же закончились и следующие две партии, а в 12-ой Мекингу удалось, наконец, получить существенный перевес по дебюту, который он в хорошем стиле довел до победы. Опять все перемешалось, ведь до конца матча оставалось четыре партии, перевес же в одно очко не играл большой роли. В этот момент ко мне подкралась большая усталость. Милая американская семья Хаглеров пригласила нас использовать небольшой перерыв в матче для отдыха с ними на лоне природы. Трудно сказать, насколько правильно такое решение во время соревнования — шахматист снимает с себя напряжение, а через несколько дней он снова должен войти в ритм, а это, увы, не всегда удается. Я же был расстроен своим поражением и считал его следствием крайней усталости.

13-ая партия оказалась самой нервной и напряженной в матче. Черными Мекинг играл на выигрыш и получил преимущество. Небосвод белых заволочли грозовые тучи. Возникла критическая позиция. У Мекинга было несколько заманчивых продолжений. Среди них было и одно, которое форсированно приводило его к позиции с лишней пешкой. Что видел за доской мой соперник, мне трудно сказать — после партии нам было не до беседы. Возможно, что после ряда неудач при реализации лишней пешки он уже перестал доверять своей технике и считал, что брать меня надо только "живьем". После длительного раздумья он избрал путь нагнетания давления, который оказался не к месту. Мне удалось быстро уравнивать игру, а поскольку противник упрямо продолжал играть только на выигрыш, я перехватил инициативу и закончил партию матовой атакой. Еще час назад результат матча был неясен, и вдруг это изнурительное сражение закончилось. Оба мы были недовольны итогами матча, и у каждого из нас были основания расстраиваться. По ходу встреч Мекинг

переиграл меня, но отсутствие опыта, недостаток техники определили его поражение.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПЕТРОСЯНОМ

Победа над Мекингом проложила мне дорогу в полуфинал турнира претендентов. Здесь меня ожидал Петросян, только что обыгравший в мучительной борьбе Портиша, партнера для него традиционно трудного. Как и я в своем предыдущем матче, Петросян выложился до предела, хотя это ему и не свойственно. Я глубоко изучил игровую палитру Петросяна, и хотя наши слабые и сильные стороны как-то уравновешивались, все же я превосходил его в спортивном плане, был агрессивнее. Ошибка 1971 года не повторилась — я наотрез отказался играть в Москве, куда меня тогда завлекли. В своем подмосковном имени Петросян, утопая в роскоши, живет подобно князьку со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, я же должен был бы ютиться в гостинице, испытывая обычные трудности советского быта. По нашему обоюдному согласию матч был организован в Одессе.

Другую пару полуфиналистов составили Спасский и Карпов. Мне было ясно, что Спасский сейчас не в состоянии выиграть матч у восходящей звезды — Карпова, тем более, что Спасский был изгоем и, по его словам, во время матча вынужден был "занять круговую оборону". Накануне матчей Петросян заявил в печати, что, по его мнению, победителем турнира претендентов будет кто-то из другой пары. Лицемерие этого человека вызвало во мне неудержимый внутренний протест, поэтому я заявил, что именно победитель нашего матча выиграет турнир претендентов. Для такого заявления у меня имелись чисто шахматные соображения. По знаниям, а прежде всего по опыту, и я, и Петросян значительно превосходили Карпова, и при всех прочих равных условиях кто-нибудь из нас должен был его победить. Попутно я отметил, что в области знания дебютной теории, шахматной эрудиции я превосхожу Карпова, Петросяна, Спасского вместе взятых. Хотя кое-кому такие заявления могли показаться

фанфаронством, я все же был недалеко от истины, правда, я еще не представлял, с какой когортой мне придется помериться силами в ближайшем будущем!

Многочисленные болельщики ожидали, что по образцу предыдущего поединка мы с Петросяном будем бороться до лимита — все 20 партий. Судьбе же было угодно иначе. Как выяснилось позже, Петросян готовился к матчу со мной в сотрудничестве с Карповым. Но те дебюты, которые хороши для Карпова, оказались не в стиле Петросяна, который не склонен с первых же ходов завязывать борьбу, искать с самого начала партии лучшие, а иногда единственные ходы. Начало первой партии было неожиданным для меня, но я разыграл его спокойно, получил несколько лучшие шансы, а главное, довольно ясный план усиления позиции. Петросян нервничал, не избежал нескольких ошибок, попал под атаку, а в заключение не успел вовремя сдаться и получил мат. Во время этой партии возник конфликт. В последние годы у Петросяна появилась странная привычка дергать ногой под столом, "действие" это начинается обычно за час до контроля. И в то время, когда я обдумывал свой очередной ход, он во всю шатал стол. "Так же невозможно играть, а то за разными столами сидеть будем?" — сказал я ему. Петросян перестал трясти стол, но после партии написал заявление судье о моем поведении (об этом я тогда не знал). В напряженной стратегической борьбе закончилась вничью вторая партия. Мы подписали мирное соглашение после четырех часов трудового дня, так что Петросян не успел включить свое подпольное, а вернее, "подстольное" оружие. В третьей партии Петросян опять повторил дебютное построение первой. Теперь, однако, я был подготовлен, не только зная систему, но и манеру ее розыгрыша моим соперником. Все произошло в течение первых 15-ти минут. Пожертвовав пешку, я создал сильное давление, затем отыграл материал и, разменяв ферзей, перешел в эндшпиль с лишней пешкой. Дальше все было просто: Петросян был растерян, не оказывая должного сопротивления, он быстро проиграл. После этого он взял тайм-аут, чтобы немного прийти в себя. В своем обычном

стиле он боролся за победу в следующей партии. В почти симметричной позиции я так и не сумел уравнивать игру. Петросян получил большое преимущество. Мы попали в обоюдный цейтнот, но здесь он оказался сильнее меня и довел свой перевес до победы.

Во время цейтнота сидеть мне за столом было трудно. Петросян качал его, стол дрожал мелкой дрожью. Я пошел к судье жаловаться, но тот только пожал плечами — что он мог сделать, чем помочь? После партии я написал заявление в судейскую коллегию, что, несмотря на мои неоднократные просьбы, Петросян продолжает вести себя неспортивно, мешая мне играть. В моем обращении в судейскую коллегию я отметил и тот факт, что в зале регулярно собирается большая группа армян, шумно приветствующая Петросяна.

В пятой партии Петросян изменил схему дебюта, но, к счастью, я был хорошо подготовлен и к этому варианту. Мой тренер Цейтлин предсказывал именно это начало, и позиция, возникшая в партии после 15-го хода, уже накануне стояла у меня дома. Я получил некоторый позиционный перевес. Приблизился обоюдный цейтнот, и Петросян за час до конца игры прочно уселся за доску и во время моего хода стал трясти стол. Что мне было делать? Я уже использовал все доступные мне возможности, чтобы повлиять на него. У меня создалось впечатление (а за доской шахматист в обостренном нервном состоянии чувствует своего противника тоньше), что если раньше Петросян делал это подсознательно, по привычке, теперь же понял, насколько это мне мешает и при попустительстве судьи хочет вывести меня из себя. "Не трясите стол, вы мне мешаете", — сказал я ему. Сначала Петросян сделал вид, что не расслышал моих слов, а потом ответил: "Да мы же не на базаре". Заподозрив что-то неладное, подбежал судья. "Успокойтесь, успокойтесь", — увещевал он. Петросян только уселся еще поудобнее и продолжал трясти стол. Практически я был бессилён. Играя матч на первенство мира, я был в ловушке. Мои часы шли, а думать мне Петросян не давал. И тогда я произнес сакраментальную и в то же время наивную фразу: "Вы ловите свой последний шанс!"

Ее-то Петросян расслышал (может быть, и кое-кто из зрителей). Зато я получил возможность продолжать игру в нормальных условиях.

В тот момент до моей победы было еще далеко, но я был предельно собран. Сделав несколько тонких ходов, я перевел игру в окончание с лишней пешкой и, несмотря на сильнейший цейтнот, отложил партию с большим материальным преимуществом.

На доигрывание Петросян не пришел. Вместо этого он написал заявление, требуя отменить результаты матча (напоминаю читателю: счет 3 : 1 при одной ничьей в мою пользу) и присудить ему победу, на том основании, что я ему мешаю играть. Создалось необычайное положение. Матч проходил под эгидой ФИДЕ, и никто: ни Брежнев, ни Эйве не мог отменить его результаты, разве что Конгресс Международной шахматной федерации. Петросян привел в движение всю свою "дипломатию" — он звонил Эйве, но того не оказалось на месте. Он послал в ЦК КПСС телеграмму из двухсот слов, и в ожидании ответа меня заставили взять тайм-аут. В дело вмешался арбитражный комитет, который возглавил председатель Одесского горсовета, из Москвы прибыл председатель Всесоюзной судейской коллегии, из Ленинграда тоже слали мне на помощь официального представителя спортивной организации. Созвали заседание, на него пригласили нас обоих. Петросян требовал от меня извинений. По сути, выходило, что я нарушаю букву шахматного кодекса, обращаясь к партнеру во время партии, поэтому я сказал, что готов извиниться. "Извиниться!?" — вскричал Петросян, — а кто мне вернет мои очки?"

Подумав, однако добавил: "Он говорил мне это громко, в зале слышали люди, пусть он тогда извинится публично!" Меня спросили, готов ли я сделать это. Не ясно было, что это значит: каяться ли мне с микрофоном в руках или заявить о своем поведении в газете. Я сказал: "Хорошо, я могу извиниться публично, но в связи с этим встает вопрос, перед кем же мне извиняться. Дело в том, что выступления Петросяна в Советском Союзе сопровождаются демонстрациями

лиц армянской национальности, и меня интересует, какую роль играет сам Петросян в организации этих сборищ?" В горле у Петросяна что-то заклокотало. "Все, — прокричал он, — он оскорбил меня, он оскорбил мой народ. Я с ним больше не играю!"

Это было, действительно, все. Петросян написал очередное заявление, где обвинял меня в шовинизме. Вряд ли в нем он упомянул о существенной детали: жена моя, кстати, присутствовавшая на матче, сама — армянка.

Меня уговорили написать письмо с извинениями, я смлодушничал, согласился. Это, однако, уже не имело значения.

В ожидании решения ЦК КПСС он лег в больницу, жалуясь на почки, но от обследования отказался. Когда из Москвы пришел отрицательный ответ, он выписался из больницы и подал еще одну эпистола, что по состоянию здоровья он сдает матч.

Уже потом нас пытались помирить высокое спортивное начальство. Вставал вопрос — можем ли мы участвовать в одной команде на предстоящей олимпиаде в Ницце, или будет играть только один из нас. Петросян был мрачен, только в присутствии председателя комитета он выдавал из себя что-то наподобие примирительной улыбки — лишь бы его не выбросили из сборной команды.

ФИНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Мне предстояло встретиться в финале с Карповым, который довольно легко обыграл Спасского. До матча было еще далеко, но я уже ощущал, что Карпов — признанный фаворит, что он получает любую поддержку, что для него делается все.

Я не хотел играть матч в Москве, предлагал провести его в другом городе или хотя бы половину его сыграть в Ленинграде. Обманым путем все-таки сумели получить мое письменное согласие на игру в Москве: в подписанный мною документ был просто добавлен еще один пункт. Стоял вопрос, когда начинать игру в матче. Обычное время — 16.30, но Карпов настаивал на 17 часах. Не знаю, как он аргументировал

свое требование, в его положении искать доводы было необязательным. Мне же было ясно, что он имел в виду. Он, очевидно, думал, что, поскольку я старше его, мне вечером играть будет труднее. Сам же Карпов ложится спать очень поздно, встает в первом часу дня, так что ему только к пяти часам удастся прийти в рабочее состояние. У меня появились неожиданные союзники: желание Карпова вызвало протесты работников прессы и телевидения, которым в этом случае труднее было бы давать информацию о матче. Вопрос о времени игры обсуждался на заседании организационного комитета, была там группа, поддерживавшая меня пространным заявлением по этому поводу. Из шахматистов же там присутствовал только Авербах, в то время председатель шахматной федерации СССР. В прошлом он ко мне неплохо относился, а тут выступал за Карпова. Предложение молодого шахматиста было принято. Когда я узнал о поведении Авербаха на заседании, я не мог промолчать. Мне необходимо было отвечать на удары, хотя бы ради психологической подготовки к матчу, иначе, смирившись, я проиграл бы его в угнетенном состоянии без борьбы. Я послал Авербаху открытку на адрес Центрального шахматного клуба СССР и надеюсь, ее прочли многие, прежде чем она дошла до адресата. Обыгрывая высокий рост Авербаха, я написал: "От трусости до предательства — один шаг, но с вашими данными вы легко преодолеваете это расстояние. Искуснее держите нос по ветру!" Я обрел еще одного врага, но мой Рубикон был уже перейден: с этого момента я играл на разрыв...

Итак, фаворитом судьба избрала Карпова и ясно почему. Родился он в Златоусте, на Урале, в центре России. Стопроцентный русский, он выгодно отличался от меня, русского по паспорту, еврея по наружности. Он был типичным представителем рабочего класса, хозяина страны по советской конституции, в то время, как я, прожив всю жизнь в культурном центре, Ленинграде, противопоставлялся ему, как представитель интеллигенции. К тому же Карпов был моложе, перспективнее, ему принадлежало будущее, а мне недолго оставалось играть. Карпова осыпали ласками, он стал членом ЦК ВЛКСМ,

сам Секретарь этой организации был его приятелем (тоже родом из Златоуста). Карпов отлично понимал, что он собой представляет — символ, знамя русскости. Он знал, как себя вести, чего от него ждут.

Несмотря на то, что Карпов уже давно оставил Урал и Златоуст, он всячески старался сохранить манеры, которые каждому давали возможность видеть в нем простого рабочего парня. Накануне матча мы дали интервью, отвечая на одинаковые вопросы для популярной в Советском Союзе газеты. Вопросы эти в какой-то мере должны были вскрыть наш интеллектуальный уровень, представить нас болельщикам не с шахматной, а с человеческой стороны. Моим любимым писателем я назвал юмориста О'Генри, а любимым фильмом феллиневские "Ночи Кабирии". Карпов же назвал Лермонтова, которого проходят в школе, и фильм "Освобождение", многосерийную картину о войне 1941-1945 годов, выпущенную недавно в СССР. Неправда ли "простенько, но со вкусом?" Нет, я далек от мысли, что Карпов так ограничен. Таких ответов от него ждали, и он лепил свой образ для "простого советского человека", не смущаясь своим показным примитивизмом — так надо было!

Не раз я выступал в печати, заявляя, что Фишер — выдающийся шахматист, что играть с ним трудно. Накануне матча один из крупных советских журналов вышел с фотографией Карпова на обложке и с сопроводительным текстом: "Я никого не боюсь и со всеми играю на выигрыш!" Всему советскому народу теперь должно было быть ясно, кто из нас самый достойный.

Было известно, что официальные тренеры Карпова — Фурман и Геллер. Мне предстояло назвать свою пару. Однажды я пригласил к себе на подготовку гроссмейстера Бронштейна. Мы поработали неделю, потом я предложил ему быть моим официальным тренером. "Знаете, — ответил он, — все равно матч будет в Москве, я вам буду помогать и так. Я веду шахматный отдел в крупной газете, если я буду официальным тренером, мне не разрешат освещать ваш матч". Он вернулся в Москву. В федерации шахмат, узнав о его поездке, позво-

нили в редакцию и... Бронштейну запретили писать о матче. Огорченный, он уехал из Москвы, сначала отдыхать, потом выступать в чемпионате СССР. Вернулся он только в середине ноября. Вышло так, что я невольно лишил своего приятеля удовольствия и заработка.

У меня был уже один тренер — мастер Онос, порывать с ним мне не хотелось: все-таки мы сработались за два предыдущих матча. Мне предстояло еще найти человека, нечувствительного к общественному мнению и к "ударам судьбы", которые могут неожиданно последовать. Среди гроссмейстеров таких охотников не было. Выбор мой тогда пал на мастера Джинджихашвили (ныне гроссмейстер), человека с "неважной" репутацией в официальном мире. Сам факт моего выбора был новым вызовом советскому "эстаблишменту", не менее резким, чем моя открытка Авербаху. Зато я знал, что просто так, потому что Партия просит Джинджихашвили, он меня не предаст. Но против меня был использован богатейший арсенал оружия. Не успел я приехать в Москву, как мне уже стали рассказывать, что Джинджихашвили якобы встречался с Петросяном, беседует с Григоряном (тоже армянин, поди, знай, на чьей он стороне). Видимо, очень хотели, чтобы я перестал доверять своим и без того не очень мощным тренерам: и в итоге добились своего.

Усилиями Всесоюзной шахматной федерации в поддержку Карпову был сколочен мощнейший штаб. Помимо основных тренеров, там были Петросян, Авербах, Таль, Ботвинник. Да, да, даже Ботвинника уговорили давать Карпову советы! Мне рассказали историю, как однажды Таль и Ваганян прилетели в Москву с международного турнира. При выходе из аэропорта их ждала машина ЦК ВЛКСМ. "Поехали срочно к Карпову, — сказал ответственный работник, — у него плохо получается с французской защитой". И оба послушались, поехали.

Что же удивляться, что в матче с Карповым я оказался слабее в дебютном отношении. Ведь в сущности, я был одинок! Спасский, который очень хотел мне помочь, был после матча с Карповым в тяжелом состоянии. Трусливый Полу-

гаевский страшно боялся, что узнают о его деятельности, и пытался помочь мне в анализе... не выходя из своей машины. Довольно громко заявлял о своих симпатиях ко мне Смыслов. За эту "провинность" после чемпионата СССР, когда он вернулся в ноябре в Москву, его тут же услали на турнир в Венгрию, как он ни сопротивлялся — чтобы не вздумал мне помогать.

Свои симпатии высказывали мне гроссмейстеры Суэтин, Холмов, Васюков, ряд мастеров. Карпова не любили люди, которые успели познакомиться с ним поближе, и еще куда более многочисленная группа тех, кто видел в нем знамя реакции. Но, однако, реальные помощники были у него, а не у меня.

Столь же красноречивым было поведение публики. Мы играли в лучших залах страны — в Колонном зале Дома Союзов, в том самом, где когда-то хоронили Ленина, а потом Сталина, и в зале имени Чайковского. Матч посещала в основном интеллигентная публика. Она тихо, но устойчиво болела за меня. ЦК ВЛКСМ помог Карпову и в этом, рекрутировав на игру своих "ребят". Когда закончилась вничью 22-ая партия, сцену окружили фашиствующие молодчики, крича: "Так, так, бей его, Толя!"

Течение матча, его спортивный и психологический ход никогда не был освещен в печати, иначе следовало бы коснуться различных околошахматных моментов. Пришлось бы констатировать факт, сколь бедной была игра участников и, в частности, победителя. Этот матч я разделяю на две части. В первой — наступал Карпов. Он очень старался, выкладываясь изо всех сил. Он навязал мне бой, стараясь с первой и до последней минуты заставить меня решать сложные задачи, откладывая каждую партию. Он, наверно, думал, что мне, старшему по возрасту, не устоять перед таким натиском. Но получилось иначе. Выдохся он сам. Не надо забывать, что Карпов весит всего лишь 52 килограмма, а за время матча он похудел на 4 килограмма. Страдает он и пониженным давлением крови. Говорят, к концу матча его давление было шестьдесят на тридцать.

В любительском боксе такая встреча была бы прекращена, ввиду опасности для здоровья одного из противников. Я, вопреки предположениям Карпова, физически чувствовал себя хорошо, выстоять перед его натиском в начальной фазе матча мне помогла хорошая физическая подготовка. Вскоре после матча с Петросяном мне предложил свою помощь экс-мастер спорта по боксу, а ныне специалист по спортивной психологии. Я занимался с ним спортом почти два месяца перед матчем, и накануне его пробежал по 4—5 километров в день. Я уверен, что эта тренировка принесла свои плоды, и сам Карпов скоро это почувствовал... Первые 8 партий прошли при явном преимуществе моего соперника. Он очень тонко подобрал против меня дебют черными, не нужно забывать, что его главным советником был Фурман, человек, с которым я работал годами, который знал все мои слабости, и это очень затрудняло мою борьбу с Карповым. Они разработали и применили против меня дебютную схему, которую мне по природе моего шахматного стиля было трудно опровергнуть. Мы сыграли три партии этим дебютом и, несмотря на домашний анализ, я был вынужден уйти "в сторону"... Вообще, в игре черными я к матчу подготовил несколько схем, но не был абсолютно уверен, какая из них окажется самой действенной. Мне пришло в голову, что самую сомнительную из них надо бы попробовать в начале матча.

Меня ожидала тщательно проанализированная домашняя "заготовка", и прямой атакой на короля Карпов выиграл вторую партию матча. Это было лучшим достижением Карпова в матче, но мне странно было, что комиссия "Информатора" назвала ее лучшей партией года, несмотря на то, что в ней не было ни борьбы, ни творчества. Вничью, при сильном давлении Карпова, закончились 3-я и 4-я партии, а в 6-ой я вновь применил экспериментальный дебют, при этом подготовленный мной накануне игры фактически в одиночку. Я уже не очень доверял тренерам, а сам недостаточно разобравшись в положении дома. Замысел был правильным, но мне как-то не хотелось жертвовать пешку, и дома мне показалось, что я могу решить все проблемы, сохранив

равный материал. За доской, однако, я обнаружил, что в моей "заготовке" есть изъяны. Для того, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление, нежелание расстаться с материалом, я потратил на раздумья лишний час. Позиция получилась перспективная, но неуверенность не покидала меня, и в считанное количество ходов я проиграл отличное положение.

Хорошо, что я, наконец, нашел французскую "стойку". Избирать другой дебют, экспериментировать мне уже было опасно из-за перевеса Карпова в счете, тем более, что уверенности в тренерах не было. Я невольно представлял себе такую ситуацию, что к Осносу — члену партии — подходят и говорят: "Ну что ты связался с этим выродком? Ты должен нам помогать, это твой партийный долг!" Такие странные мысли были у меня тогда, в той мрачной ситуации, и это было вполне естественно. Моя жена находилась в пресс-центре, люди опасались подходить к ней, чтобы просто поздороваться.

Начиная с 9-ой партии, я почувствовал, что Карпов не выдерживает напряжения, начинает сдавать. Тут он впервые в матче предложил ничью в середине схватки. С 10-ой партии и до конца матча я держал инициативу в своих руках. Карпов отчаянно отбивался — полтора месяца он сидел в окопе! Признаюсь, сколь ни случайны были мои поражения во 2-ой и 6-ой партиях, они все же были следствием сильнеего нажима Карпова, и если бы я не проиграл их, я бы мог проиграть 3-ью, 7-ую или 8-ую партии, в которых я удержался на волоске. Теперь же роли поменялись, и на краю пропасти долго балансировал Карпов: в 10-ой, 11-ой, 13-ой, 15-ой, 17-ой партиях я был близок к выигрышу. В нормальных условиях любой средний гроссмейстер довел бы их до победы, мне же это не удалось. С каждой новой партией игра Карпова становилась серее, блекла. Он уже допускал очевидные просмотры, как, например, в 13-ой и 15-ой партиях. Мне не дано было использовать его ошибки, ко мне регулярно подкрадывались цейтноты. В отложенных позициях у меня, как правило, было преимущество, но качество домашнего анализа намного уступало качеству анализа противни-

ка, к тому же анализ забирал у меня слишком много сил.

Взять меня на измор Карпову не удалось, он первым стал брать тайм-ауты. Этот человек огромной воли физически явно сдавал. Все же во время своего нажима я не добился успеха, скорее наоборот, даже проиграл 17-ую партию. Перед матчем, в обстановке всеобщего ажиотажа и восхваления Карпова, в порядке самозащиты я заявил, что выиграю матч, причем в 17 партий! Увы, именно эта 17-ая партия оказалась для меня роковой. В ней впервые в матче я разыграл каталонское начало, предложив партнеру жертву пешки, что для меня вообще нетипично. Карпов не стал ее защищать и, не задумываясь, сделал другой ход. Так Карпов не играет, как правило, он принимает предложенные дебютные жертвы. После хода соперника я погрузился в длительное раздумье, нет, не о плане игры я думал, меня интересовало тогда одно: кто же меня предал?

Все же я получил преимущество, но в таком состоянии нормально уже играть не мог. Вскоре я упустил большой позиционный перевес, и игра выравнялась. Упрямо продолжая играть на выигрыш, я попал в цейтнот и потом в равной позиции "зевнул" несложную ловушку. Первые сомнения в исходе матча зародились во мне во время 13-ой партии. После 17-ой я понял, что мне не спасти его. Так думал я, но финиш засверкал чудесами. Изможденный Карпов проиграл мне равный эндшпиль в 19-ой партии, а 21-ую не дотянул и до миттельшпиля — все было кончено в дебюте. Публика не успела прийти на игру, вынуть карманные шахматы, как мы уже покидали сцену. Помню, каким испепеляющим взором смотрел на меня Карпов перед сдачей. После этой партии, рассказывают, он перестал есть. Конец был уже близок — всего три партии, перевес Карпова минимальный. Невозможно себе представить, что было бы, если бы мы должны были сыграть еще 7 партий. Может быть, мой противник скончался бы в одночасье от натуги. А может быть, к нему пришло бы второе, третье дыхание... Поле для сражения было, увы, ограничено, у меня был последний "пятнадцатый раунд", единственная партия белым цветом. Перед концом матча моя

ежедневная почта значительно увеличилась, стали приходить анонимные письма, примерно такого содержания: "Попробуй только обыграть нашего Карпова, мы тебе покажем!" Нет, я не боялся "кузькиной матери", анонимки не запугали меня, но ощущение того, что, если сравню счет, со мной что-то может случиться на улице, не покидало меня.

Три последние партии принесли ничейные результаты. Со счетом 3 : 2 Карпов одержал незабываемую победу, которая удивительным образом привела его к званию чемпиона мира без всякого кровопролития.

Интересно, как Карпов в статье под броским заголовком "После матча, которого не было", опубликованной в журнале "Знамя" № 12 за 1976 год, по-своему трактует известный всему миру результат 3 : 2: "Он (это я) считал, что физически сильнее меня и успешнее выдержит такой матч, я же считал сильнее себя. Вот на этом мы и столкнулись: кто физически сильней? По логике вещей, это не могло продолжаться долго, и я все ждал, когда сопернику такое надоест и он вернется к своей естественной игре — к самому себе. Однако два поражения ничего не изменили, он продолжал выжидать; по сути, и после третьего поражения тоже..." Комментарии, кажется, излишни.

Последняя партия, как, впрочем, и все предыдущие, транслировалась по центральному телевидению СССР. Как метко заметил один мой приятель, не покинувший меня во время матча и даже после него: "У вас, шахматистов, важная миссия. Футболисты, хоккеисты нужны, чтобы люди поменьше водки пили, а вас показывают народу, чтобы он поменьше Солженицына читал!" Но вернемся все же к окончанию последней партии. Как это не было неприятно, я пожал руку Карпову и в одиночестве сошел со сцены. По прямому телевидению все это было показано: рукопожатие, моя изолированность и восторженное чествование холуями Карпова. На видеомagneтостроне, в "Последних известиях", которые транслируются по всей огромной стране, момент нашего рукопожатия был вырезан. Почему? Матч закончился, но счет со мной

еще не были сведены. Нужно было создать у народа представление о моем заносчивом поведении.

Моему матчу с Карповым сопутствовала скрытая психологическая борьба. Зачинателем ее был мой психолог. Карпов со сцены сразу же разглядел в нем неприятеля. Ему показалось, что тот пытается воздействовать на него из зала, загипнотизировать. Он обратился за помощью, и в поддержку ему прислали, ни много, ни мало, одного из лучших психологов страны, работающего в подмосковном центре с космонавтами. В задачу этого доктора наук входило обезвредить моего помощника, по сравнению с ним скромного любителя. Мой психолог З. предложил использовать опыт Фишера и попробовать опоздать на партию на 5—7 минут. Подействовало — Карпов был зол, как черт. Но не в характере Карпова прощать что-либо. Он тоже стал опаздывать, преимущественно на доигрывание, и превзошел меня. На доигрывание 15-ой партии он опоздал на 13 минут и пришел, собственно говоря, только, чтобы расписаться в зафиксированной ничьей. В начале партии тоже имели место психологические нюансы, когда мы должны были здороваться. В обществе, как известно, принято, что молодые оказывают уважение старшим. Эта жизненная аксиома не коснулась матча, Карпов своим поведением давал мне понять, что фаворит он, что ему позволено делать все, что заблагорассудится. В конце матча он даже перестал вставать, когда я подходил поздороваться с ним... Вспомнив это четыре года спустя, я попросил доктора Эйве внести еще один пункт в правила игры на первенство мира. Участники олимпиады перед партией приветствуют друг друга в позиции стоя.

Главный судья финала О'Келли плелся на поводу у Карпова. Был такой случай. Во время 5-ой партии, в лучшем у меня положении, я думал над ходом. Карпов встал над доской и вперился в меня взглядом, что он довольно часто делает. Сохранилась даже фотография, сделанная во время одной из партий в межзональном турнире: Карпов яростно пожирает меня глазами в момент моего хода. Ситуация была неприятная, но уже знакомая мне. Я обратился к нему с заготовлен-

ным вопросом: "Вы что-то хотите мне сказать?" "Нет, нет", — ответил он и отошел. Тут же ко мне подошел О'Келли (я продолжал обдумывать очередной ход) и сказал: "Карпов жалуетса, что вы разговариваете с ним во время партии". Он стал сообщником Карпова! Подумать только, сначала соперник, а затем судья мешали думать. А во время 20-ой партии Карпов, сделав ход, потребовал откладывания. Оставалось еще время — минута или больше, но О'Келли подчинился фавориту.

Накануне 21-ой партии я написал заявление о возмутительном поведении Карпова. Написал не в судейскую коллегия, — там же иностранец! — сор из избы нельзя выносить, тем более из советской. Заявление было в организационный комитет по проведению матча. Моя акция была не более, чем жест отчаяния, ведь победитель матча уже был известен.

НАКАЗАНИЕ

За многие годы у меня накопилось достаточно "грехов", за которые власти давно уже хотели меня наказать. Тут были и отклонения от принятых норм поведения советского человека (вспомним хотя бы 1973 год), не прощена была и строптивость, проявленная в письме к президенту шахматной федерации СССР и заявление о поведении Карпова. Самым же страшным моим преступлением была моя чисто спортивная борьба с Карповым — любимцем народа, которая заставила его титулованных болельщиков пережить немало неприятных минут. Как-то один из журналистов сказал мне: "Если бы знали, как и кто люди звонили в пресс-центр, узнавали, как стоит Карпов!" Нужен был только предлог, и он вскоре представился.

Было официальное закрытие турнира, были речи, полные обожания, Карпова называли гением. Были и специальные призы, даже мне несколько перепало. Приз же "за волю к победе", конечно, достался Карпову. Печать на все лады заливалась похвалами по поводу его блестящей победы. Шахматная же пресса была менее словоохотлива, правда,

несколько крупных слез умиления пролили на страницах "64" Петросян и Гуфельд.

Интервью Карпова, как и полагалось, доказывали закономерность его успеха, в них он неоднократно подчеркивал полную уверенность в себе на протяжении всего сражения. Имя его противника старались не упоминать. Карпов выиграл блестяще, чуть-чуть затянул поединок, но спешить-то ведь было некуда. Мне же никто не предложил поделиться мыслями о финале турнира претендентов, и, когда югослав Б. Кажич попросил меня сказать несколько слов для читателей белградской "Политики", я с удовольствием согласился.

Многое я рассказал Кажичу — он не все использовал, во многом смягчил мой рассказ. Суть напечатанного в "Политике" сводилась к тому, что по таланту Карпов не превосходит гроссмейстеров, которых он обыграл в этом цикле. Однако я подчеркнул его огромные волевые качества, умение направить все сопутствующие факторы в свою пользу. И сегодня я готов под этим подписаться. Еще я добавил, что разделяю идею Фишера о том, чтобы в таких матчах ничьи не засчитывались. Интересно мне было, как бы вел себя Карпов, если бы лимита не было. Естественно, матч сложился бы по-иному, и Карпов, прижатый к стенке, вынужден был бы не только обороняться.

Это интервью было напечатано в "Политике" 3 декабря 1974 года и тотчас же стало известным в СССР. Комитет спорта потребовал от меня письменных объяснений. В одном из них я отметил, что рад тому, что мое интервью дает толчок для делового обсуждения творческих итогов матча.

Час мой пробил — и меня можно было уже наказывать. Выступление против Карпова, хотя и рассматривалось как криминал, все же было внутренним делом, но поддержка Фишера приравнивалась к предательству.

Советской печати была дана зеленая улица для моей травли. Но даже и в СССР не так легко найти палача, человека, готового исполнить черное дело. И тогда с особой охотой верным слугой руководства выступил против меня Петросян. Кажется, поэт Светлов сказал, что честный человек тот, кто

делает подлости без удовольствия. Петросян же наслаждался! Его реплика в газете "Советский спорт" называлась: "Не-спортивно, гроссмейстер!" Шахматист под прикрытием могучей государственной машины отравленным оружием полуправды наносил удар другому шахматисту, вызывая тем самым против него поток ненависти многомиллионного советского мещанства.

Следом за Петросяном, осуждая меня, выступила шахматная федерация СССР. Были опубликованы, как полагается, так называемые "письма трудящихся", которые клеймили меня и требовали "зрелища". Но были и другие письма в многочисленные редакции советских газет. В них акт моей травли сравнивался с антисемитской кампанией по "Делу врачей", сфабрикованной в 1953 году. Естественно, письма эти не публиковались. Автор одного такого письма прислал мне копию на мой домашний адрес. Петросяна он сравнивал с Лысенко и Тимашук — мрачными героями сталинизма. Обстановка накалялась, и меня собирались "проработывать" и по партийной линии. Я поддался уговорам немногих оставшихся друзей и послал в "Советский спорт" коротенькое, из 62-х слов, письмо, в котором сожалел о своем интервью, данном в состоянии большой нервной переутомленности после матча. За публикацию моего извинения главный редактор газеты получил выговор — сообразили-таки, сколь неискренним было мое "покаяние"!

В конце декабря меня вызвали в Москву, в комитет. Используя опыт Петросяна, я лег на две недели в больницу и избежал таким образом нежеланной поездки, правда, на короткое время. Уже 20 января по новому, настойчивому вызову мне все же пришлось поехать в Москву. В Комитете спорта мне сообщили, что "за неправильное поведение" я на год вывожусь из сборной команды Союза. Это было только начало. Далее следовало: годичный запрет на выступления в международных соревнованиях за пределами страны. Понизили ежемесячную зарплату. До дна эту горькую чашу унижений и преследований мне пришлось испить в моем родном Ленинграде.

Один мой приятель метко назвал город на Неве "столицей советской провинции". В прошлом главный город Российской империи, крупнейший культурный центр страны, он захирел в советское время. Жители города, его руководство никак не могут избавиться от мысли о значимости Ленинграда, пытаясь доказать ее. Действительно, была интеллигенция, в прошлом она составляла большую часть населения, но ее немилосердно истребляли, ликвидировали слой за слоем — и в 1937 году, и до, и после. Систематически уничтожалась всяческая мысль, думающее руководство на любом посту. А на место физически уничтоженных приходили новые серые люди, карьеристы, догматики, "образованцы". Так мы дожили, что Ленинград стал самым реакционным городом страны. И если в Москве, в верхах, что-то не доделывали, не добивали человека, то уж в Ленинграде эту ошибку немедленно исправляли.

Местное руководство лишило меня возможности писать шахматные статьи, выступать по телевидению. Квартира моя прослушивалась, почта не доходила; например, я перестал получать английские и югославские шахматные журналы; подозреваю, что 5 экземпляров книги "Королевский гамбит", написанной мною в сотрудничестве с Заком и изданной в Англии, тоже были реквизированы КГБ. Упорно распространялись слухи о том, что я будто бы подал заявление на выезд в Израиль. В связи с этими слухами даже моему сыну в школе пришлось нелегко.

Больше двух месяцев у меня в Ленинграде не было ни одного выступления — в городе, где я был наивысшим шахматным авторитетом, в городе, где миллионы людей знали меня и болели за меня. Спустя несколько месяцев меня потихоньку стали приглашать на выступления, и в комитете партии, видимо, махнули рукой: "Ладно, пусть..." После этих выступлений в комитет партии стали поступать анонимные письма, что я "не то говорю" — о Карпове и Фишере. Иногда я получал анонимные письма грязного антисемитского содержания.

В это время в прессе шла организованная кампания против

Фишера и ФИДЕ, фабриковались гадкие статьи, собирались подписи под ними. Настаивали, чтобы и я доказал свою лояльность, выступив против Фишера с отдельной статьей. Я понимал, как важен для шахматного мира матч Карпов — Фишер, знал, что претендент мечтает его сыграть. Статья была написана, но она была не такой, какой от меня ожидали. Я послал ее Карпову, он показал эту статью руководству, но в прессу она так и не попала. В своей статье я доказывал, что матч должен играть без ограничения партий, но предлагал сократить число побед до 8-ми, если игра будет проходить под знойным небом Манилы.

Читателю может показаться довольно противоречивым мое отношение к Карпову, особенно на протяжении нескольких последних лет. Лично к А.Е. Карпову у меня, несмотря на напряженно протекавший матч, никаких претензий не было. Ну, кто бы на его месте не постарался бы использовать психологическое преимущество для достижения желанной победы! Но к гроссмейстеру Карпову — знамени советской реакции, мое отношение было и остается явно отрицательным.

Лишенный возможности играть за границей, я решил поехать в Таллин на международный турнир, тем более, что Керес и Ней настойчиво приглашали меня туда. Комитет спорта запретил мне играть и там, а эстонским шахматистам было поставлено на вид за их неправильное поведение.

Для Кереса это было последнее в его жизни замечание. Возвращаясь из Канады с турнира, в котором ему запретили участвовать, а он на свой страх и риск сыграл и оказался победителем, он умер по дороге в Хельсинки. Керес внес в мировую сокровищницу замкнутого черно-белого квадрата глубокие идеи по теории целого ряда начал, написал книги, ставшие настольными для шахматистов мира. Эстония и шахматы, шахматы и Эстония — вот чему он был верен до конца. Ему удалось не только выиграть множество турниров и трижды чемпионаты Союза, но неоднократно сражаться со всеми чемпионами мира (кроме Стейница).

Было у меня приглашение на турнир в Югославию и на турнир сильнейших гроссмейстеров в Милан, но ни о какой по-

ездке не могло быть и речи. Вскоре о моей ситуации задумался Карпов. Нет, он ни в коей мере не филантроп. Став чемпионом мира, он, однако, подумал: а где же его заслуги? Свой титул он получил за то, что обыграл Спасского и меня. А нас народ начал забывать — и Спасский, и я, придавленные государственной машиной, не могли показать свои силы. Да и упоминание нашего имени в какой-либо из статей считалось дурным тоном. Получалось, что обыграл он шахматистов второго сорта, а чемпионский титул возник как бы из пены морской. Исходя из этих соображений, Карпов предпринял некоторые шаги, чтобы облегчить мою участь. Как ни парадоксально, в этом начинании Карпова значительную роль сыграло то привходящее обстоятельство, что именно Петросян сделал все от него зависящее, чтобы похоронить матч Фишера с Карповым, и Карпов, понимая это, искал уже союзника для борьбы с "самим железным Тиграном". В сентябре мне было официально объявлено, что опала снята, зарплата возвращается и что я могу поехать на турнир на Филиппины, куда шахматная федерация СССР рекомендовала меня. Но ленинградцы и на сей раз показали свой оскал, нет, не горожане, а партийные бонзы: на выезд за границу полагается получить разрешение от партийной организации города, а его-то я не получил. По неизлечимой наивности, я продолжал надеяться, приехал в Москву, готовый к отъезду в Манилу в любой момент. Полугаевский уже улетел, в центральной газете "Правда" появилось сообщение, что в первом туре филиппинского турнира я встретился с Ларсеном, а я, вместо этого встретился со Спасским (в Москве) в день его женитьбы на французенке русского происхождения. Говорят, французский посол просил разрешение на брак Спасского в личной беседе с Брежневым...

В ноябре я, наконец, получил возможность сыграть в международном турнире, но не за границей, а в Москве. Состав был сильный, особенно мощной была группа советских гроссмейстеров. В турнире я шел посредственно, но это было до встречи с Петросяном. Партию с ним я играл, сжав зубы. При втором доигрывании я ее выиграл. Встреча эта мобили-

зовала меня: набрав на финише 4,5 из 5-ти, я разделил 3—5 места после Геллера и Спасского. Учитывая тяжелый год переживаний, это было совсем неплохо.

РАЗРЫВ С ПРОШЛЫМ. СВОБОДА...

Беды, обрушившиеся на меня, грязные обвинения, на которые я был лишен возможности ответить, вызвали в моей душе переворот, а необходимость идти на компромиссы — лишь ожесточила. Будучи человеком довольно свободных убеждений, в жизни своей я был достаточно консервативен: всю жизнь прожил в одном городе, женился только один раз, предпочитал работать с одним и тем же тренером.

В декабре 1974 года, наконец, я полностью прозрел. Мне стало ясно, что с моим строптивым характером мне не избежать кардинальных перемен. Меня прижали сильно, но подсознательно меня преследовало ощущение, что это не конец, что аппарат ждет лишь подходящего момента, чтобы низвести меня окончательно, как только я стану чуть слабее играть. Я обдумывал, как выбраться из этой западни, но рассматривал лишь самые безболезненные варианты. Подать заявление на выезд в Израиль? Пойди, получи разрешение! Это же восхождение на Голгофу! Однажды я даже написал письмо (хорошо, что не отправил его) Тито, чтобы он принял меня под свое крыло — во всяком случае было бы лучше, чем в СССР. Благо, вовремя сообразил: такое письмо — чистая утопия...

А пока, в предвидении следующего цикла борьбы за первенство мира, меня снова стали выпускать за границу. В конце 1975 года я поехал на рождественский турнир в Гастингс. Я, конечно, намекал жене, что жить больше в советских условиях не могу. Этими же мыслями я делился и с немногими друзьями. Но никто не мог меня понять полностью: ведь все неприятности коснулись лично меня, а на долю близких выпали лишь чувства горечи и обиды за меня. Больше всех был расстроен сын — в эти тяжелые дни он демонстративно ходил в школу со значком олимпиады в Зигене: Kortschnoi.

Положение в Союзе вроде бы начинало стабилизироваться, но я уже не хотел восстанавливать старые связи. Людей, которые покинули меня в трудную минуту, мне больше не хотелось видеть. В шахматные издания, ждавшие от меня материал, я не писал по принципиальным соображениям, с отдельными же журналистами я избегал сотрудничества, чтобы уберечь их от неприятностей в будущем. Например, один журналист решил составить книгу партий советских гроссмейстеров и умолял меня дать ему что-нибудь свое, но я наотрез отказался, ссылаясь на то, что не хочу портить ему книгу. Другой журналист готовил мою биографию. Я оттягивал время, мы так и не встретились. И ему я дал понять, что в СССР он почта этой книгой не добьется.

Руководство федерации не раз запрашивало меня, с кем я буду работать при подготовке к матчу претендентов. Ответа я не давал, объясняя, что со мной официально боятся работать мастера и гроссмейстеры. Так оно и было, но, с другой стороны, я сам не хотел никого ставить под удар властей в случае моего ухода на Запад. В течение 1975—76 годов я несколько раз организовывал полусекретные тренировочные сборы с мастерами, по моему мнению, хорошими людьми. Провел я и один официальный сбор. В порядке помощи молодежи я съездил на две недели во Львов, где неплохо поработал с тамошними гроссмейстерами и мастерами с обоюдной пользой.

В апреле было командное первенство спортивных обществ СССР в Тбилиси. Мало кому хотелось играть со мной: дипломатически отказался от встречи Бронштейн, преждевременно уехал Таль, сказался больным абсолютно здоровый в этот день Карпов. В итоге я обыграл нескольких запасных и занял на доске первое место. В своей команде я был за капитана, тренера, руководителя. По этому поводу в мой адрес было сказано много теплых слов в июльском номере журнала "Шахматы в СССР", но, когда журнал вышел из печати, я был уже далеко, в Амстердаме, выступая на турнире ИБМ.

У меня еще не было твердой уверенности в том, что я должен именно теперь остаться на Западе. Порвать с Союзом я

решил уже давно, но, пока я был в хорошей форме, что в преддверии турнира претендентов как-то охраняло меня, я мог еще поездить, мог перевезти на Запад побольше дорогих моему сердцу вещей. В Амстердам мне удалось увезти свой архив — особо ценные письма друзей и не менее памятные письма врагов.

Но именно здесь, в Голландии, сама жизнь подсказала мне, что больше ждать нельзя. Будучи в Союзе, я использовал все легальные возможности, чтобы на примере шахматных дел разоблачать фарисейство властей, теперь же, поскольку моя ситуация изменилась, я практически мало чем мог быть полезен людям — поэтому с чистой совестью я принял решение остаться на Западе.

Не я был первым, кто, задыхаясь в душливой атмосфере жизни в СССР, ищет выход в бегстве из страны. Но я пользовался такой официальной популярностью, которой не могли бы похвастаться в Союзе не только Солженицын и Сахаров, но даже Ростропович или Баршай, люди известные на Западе, куда больше, чем я. Меня видели на экранах телевизоров десятки миллионов людей. Многие годы газеты рассказывали обо мне — сменялись кремлевские вожди от "горца" до "кукурузника", а мое имя не сходило с газетных полос. Эту популярность чувствовал я сам, она облегчала мне жизнь. Но теперь она обернулась против властей. Ведь как-то нужно было сообщить народу о моем исчезновении. Матрос, бежавший с судна, писатель, выбравший свободу, политический деятель, высланный из страны — обо всем этом народу докладывать было не обязательно. Но случай со мной скрыть было невозможно. Первым выступило ТАСС, правда только "на экспорт", на Запад. Опровергать это выступление смешно: в нем отсутствовала логика, элементарное желание объяснить причины событий.

Через 20 дней к ТАСС подключилась шахматная федерация СССР, а еще через 2 недели было сфабриковано письмо советских гроссмейстеров.

Как бы мимоходом упомянув о моем предательстве матери-родины (как метко было замечено однажды: когда мать

теряет человеческий облик — развратничает, пьет, истязает ребенка — ее часто лишают материнских прав), "подписанты" главный упор в письме сделали на то, что я, якобы, не умею вести себя за шахматной доской, и поэтому меня необходимо исключить из всех соревнований и, особенно, из состава участников турнира — претендентов на первенство мира. Мне больно было видеть фамилии, значившиеся под письмом. За двадцать с лишним лет со многими из подписавшихся я обменивался мыслями, делился куском хлеба. Впрочем, у меня очевидные доказательства, что кое-кто этого письма и в глаза не видел и ничего не знал о нем, хотя подпись его появилась под документом. Особо нужно отметить, что грязный выпад власть имущих не поддержал Карпов... (он выпустил свое игривое письмишко, где с великодушием гения отпускал мне часть моих грехов и скорбел, что я потерял возможность совершенствоваться в тепличных условиях Советского Союза).

Когда я прочел это письмо, я лишний раз убедился в правильности своего поступка. Как сложится моя дальнейшая жизнь на Западе, что произойдет с моей шахматной карьерой — не знаю. Знаю только одно, что в стране, где людей лишают чувства собственного достоинства, я больше жить не мог...

Воспоминания публикуются с небольшими сокращениями.

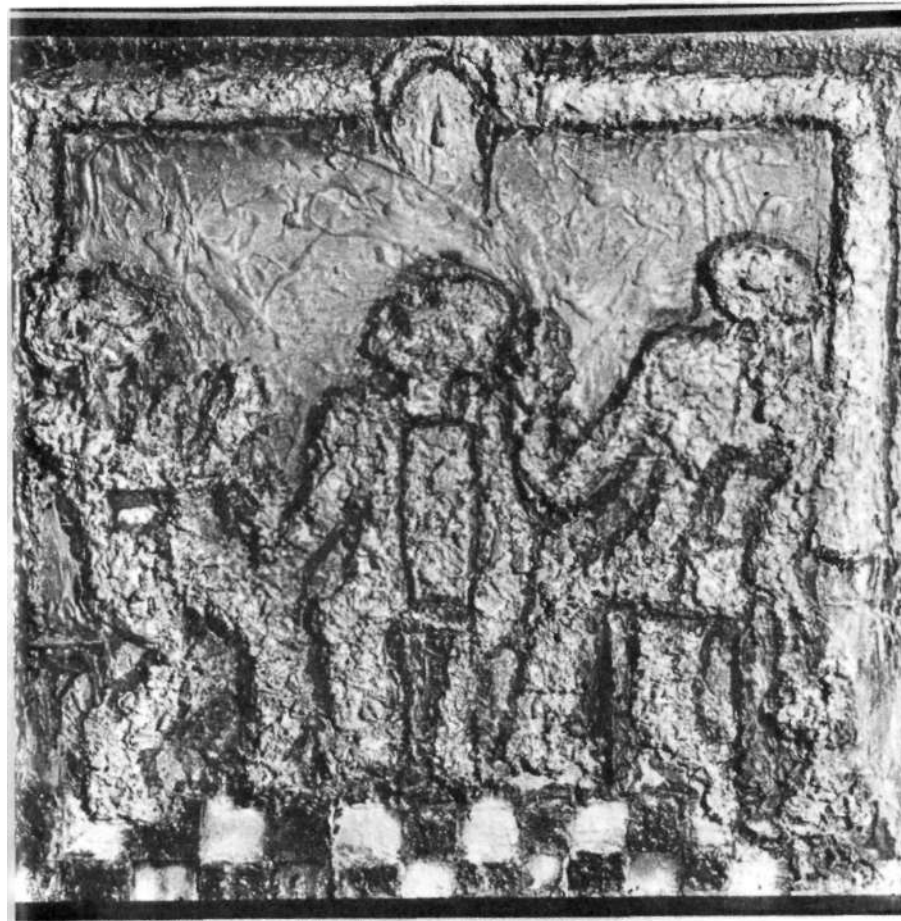
ИСКУССТВО КАТИ АРНОЛЬД

Было бы преувеличением утверждать, что искусство художницы, которую мы представляем в этом номере, безоговорочно принимается ценителями. Скорее, напротив: даже среди посетителей ее последней выставки в Иерусалиме было совсем немало таких, кто "не принимал" ни ее стиль, ни манеры, ни образный строй. Но вот что любопытно: работы Кати Арнольд почти не оставляют равнодушных. Есть восторженные почитатели, есть жестокие критики, а равнодушных нет. Откуда же это "неравнодушие"? В чем, так сказать, его истоки?

Прошлое художницы как будто и не содержит чего-то примечательного. Так жили, такой путь прошли многие из московских нонконформистов. Кате Арнольд 32 года. Родилась в Москве. Окончила Московский Полиграфический институт. Преподавала в студии экспериментальных работ Московского университета. Участвовала в выставках нонконформистского искусства и, в частности, в знаменитой "Бульдозерной выставке" 1974 года. В 1977 году приехала в Израиль, а в 1979 — выставка в Иерусалиме. Вот, собственно, и вся творческая биография. Что же касается вопроса, отчего нет равнодушных, то, право же, когда речь идет о мастере (а именно такого мастера мы видим в лице Кати Арнольд), не так уж просто ответить на этот вопрос. Общие места, которыми изобилуют критические эссе о ее творчестве, — "гуманизм", "богатая палитра красок", "свое видение мира", мало что объясняют. Понять творчество художницы, возможно, помогает совсем другое — ее совершенно необычные сюжеты, взятые из тусклой московской истории, ее образный строй, опять же рождающий свои необычные ассоциации, и, может быть, больше всего — ее техника: рельефы, сделанные формовочной пастой (а ее "Иерусалим" сделан из песка с примесью различных паст).

Так или иначе, перед нами целый мир, дающий толчок к мыслям, эмоциям, разноречивым и крайним оценкам, мир, как будто бы холодный и непластичный, но обладающий уникальной способностью будоражить и волновать всякого, кто пытается проникнуть в него.

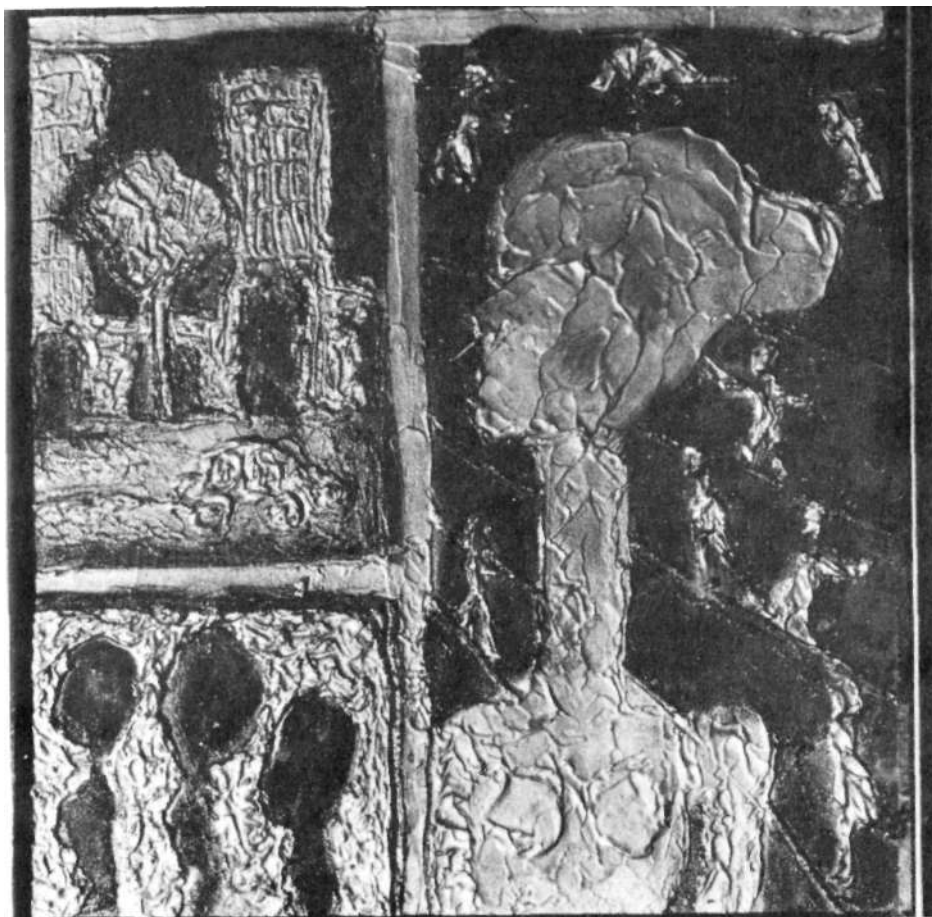
В. Петровский.



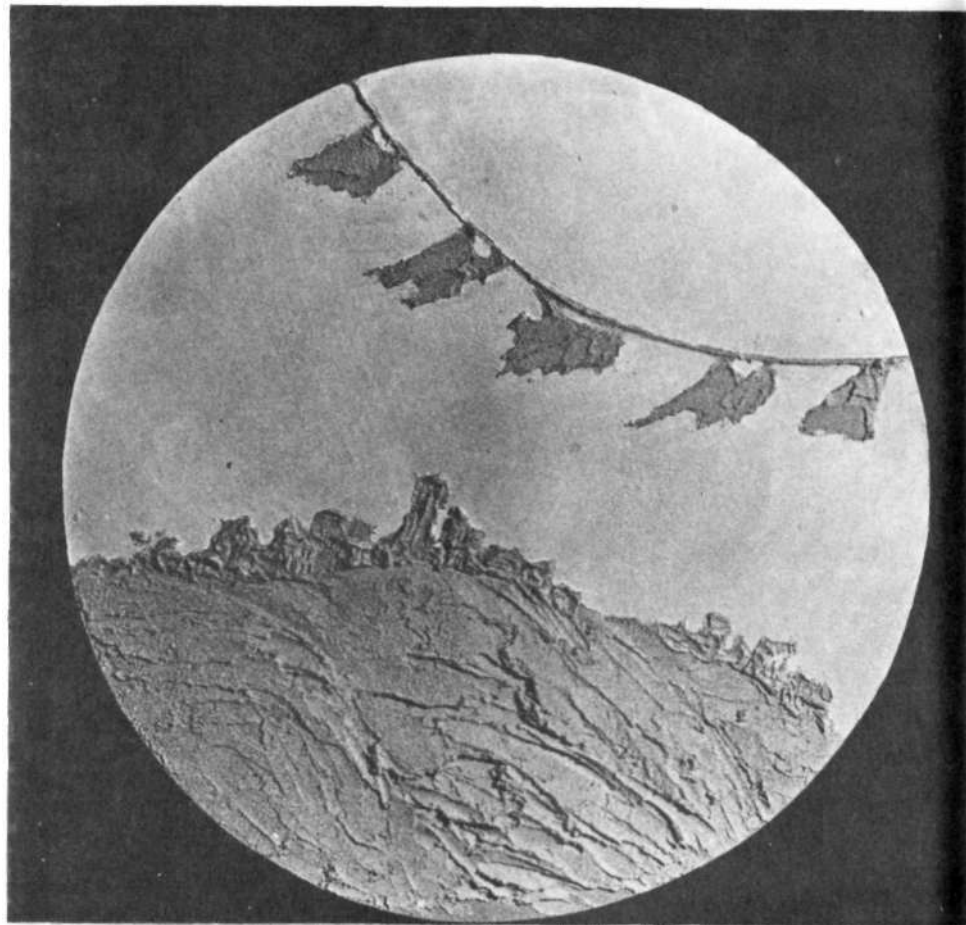
Рельефы Кати Арнольд



Рельефы Кати Арнольд



Рельефы Кати Арнольд



Рельефы Кати Арнольд

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Аркадий ЛЬВОВ. Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году был исключен с мотивировкой: за клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм. Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы. Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того, в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков, статей. Ряд рассказов переведен на английский, чешский, болгарский, польский языки. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

Владимир СОЛОВЬЕВ. Литературный критик. Родился в 1942 году. Кандидат искусствоведения. В прошлом — член Союза писателей и член Всероссийского театрального общества. Выступал на страницах журналов: "Новый мир", "Юность", "Вопросы литературы". В июне 1977 года покинул СССР.

Елена КЛЕПИКОВА. Литературный критик. Родилась в 1942 году. В течение ряда лет, после получения высшего образования, была журналистом, выступала в ряде газет и литературных журналах. С начала 1977 года вместе со своим мужем, Владимиром Соловьевым, решила порвать с советской литературой и журналистикой. В 1977 году эмигрировала в США.

Профессор Ш.Аронсон. Родился в 1936 году в Палестине, в еврейской семье из Киева. Изучал политические науки, историю, а также проблемы современного еврейства в Иерусалиме. В настоящее время профессор Иерусалимского Университета.

*ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ*

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается
в магазинах русской книги и киосках страны.*

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ХРОНИКА"

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ, выпуск 50, 1979 г., цена - 5.004
выпуск 51, 1979 г., цена - 5.00.

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР, выпуск 5, 1979 г., цена-5.00.

ХРОНИКА ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 1979 г., 245 стр., цена -8.00.

Александр Подрабинек. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 1979 г., 192 стр., цена-7.00.

Также в продаже

Владимир Буковский. И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕРАН... 1978 г., 384 стр., цена-- 12.00.

Александр Некрич. НАКАЗАННЫЕ НАРОДЫ. 1978 г., 170 стр., цена - 7.00.

ПАМЯТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Выпуск 1. 1978 г., 600 стр., цена - 1,5.00.

СССР - РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ? Составитель В. Чалидзе. 1978 г., 166 стр., цена - 7.00.

Валентин Турчин. ИНЕРЦИЯ СТРАХА. СОЦИАЛИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ. 1978 г., 296 стр., цена - 10.00.

Заказы направлять по адресу:

**KHRONKA PRESS
505 EIGHTH AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10018**

Цены указаны в долларах.

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel**



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03) 72-58-40.

26 Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу- П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдипь, 6, Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский

**На четвертой странице обложки: Катя Арнольд
"Семья художницы" ("Клан").**

